Мой Тель-Авив

Нина Абрамовна Воронель

SHOUT
SHARE
IT

-
- РОЗИ
- ШУЛАМИТ АЛОНИ
- Миша Юдсон
- ЭФРАИМ ИЛИН
- ЙОРАМ КАНЮК
- Нина Воронель: Каждый недостаток - обратная сторона достоинства

МОЙ ТЕЛЬ -АВИВ

РОЗИ

Она без стука вошла в мою новую квартиру на второй день после нашего переезда из центра абсорбции в Тель-Авив. Было это в июле 1975, и я умирала от непривычной тель-авивской жары – мы приехали в Израиль зимой, в последний день 1974 года, и я понятия не имела, что такое кондиционер и как он включается. Я сидела на одном из двух выданных нам Сохнутом стульев перед внушительной грудой обломков, в которую две таможни – советская и израильская – превратили наш небогатый багаж. Что с этой грудой делать, я тоже не имела понятия - я не знала ни языка, ни законов моей новой родины, тем более, что три месяца из моих израильских шести я провела, мотаясь по еврейским общинам многочисленных американских городов с призывом помочь моим друзьям, оставшимся в руках советской власти без меня.

Как она вошла, я не слышала – жара растопила мои мозги до полного отупения. Я безуспешно пыталась извлечь из-под обломков какой-то нужный мне предмет, как вдруг меня вернул к реальности тихий голос, произнесший по-русски с сильным акцентом:

«Я могу вам чем-нибудь помочь?».

Я обернулась и увидела перед собой женщину-птицу с дивным печальным лицом, большую часть которого занимали огромные глаза. Сходство с птицей ей придавала не только маленькая, гладко затянутая узлом волос головка, но и длинные рукава белой кружевной блузки, сбегающие с открытых глубоким вырезом плеч.

Где-то я уже видела это незабываемое лицо, оно уже раньше склонялось надо мной в полете – то ли с неба, то ли со стены, то ли с потолка. И крылья были распахнуты, прозрачные, как рукава этой блузки, - но не птичьи, а скорей стрекозинные. Откуда-то из глубины плавящейся от жары памяти выпорхнули три таких лица, не одно, а целых три. Осененные взмахами крыл они глядели на меня с картины - где же я видела эту картину совсем недавно?

Ну да, вспомнила: на стене салона роскошной виллы Айелы Закс, одной из самых богатых меценаток Израиля, жены председателя Кнессета Германа Абрамова. Мы ведь в те времена были весьма знамениты как герои еврейского сопротивления, – нас показывали по телевизору и приглашали .на обеды в лучшие дома. У Айелы Закс нами угощали в тот вечер Шимона Переса, -

не помню, каким министром он тогда был. Меня усадили за стол рядом с ним, и он мне весь вечер рассказывал свои впечатления от замечательной книги Надежды Мандельштам, которую прочел совсем недавно.

Я хлопала ушами и восхищалась, какие интеллигентные в нашей стране министры. И вдруг я увидела эту картину с тремя стрекозами – она висела на стене передо мной, - и спросила не к месту, прямо посреди разговора о Надежде Мандельштам:

«Кто этот художник?»

Мне ответили: «Разве вы не видите - это Иосл Бергнер».

Я, конечно, этого не видела, - я тогда ничего не знала об Иосле Бергнере. И понятия не имела, что на многих его картинах запечатлено лицо моей соседки Рози, которая как-то сразу стала моей подругой. В следующий раз я услышала его имя, когда, гуляя по галереям старого Яффо, Саша решил купить в наш новый дом картину. Он долго выбирал из великого множества развешанных по стенам полотен и наконец, указав на одно, спросил галерейщика, сколько оно стоит. Ответ потряс нас до глубины души:

«Двадцать тысяч долларов». – без запинки сказал галерейщик.

В те времена двадцать тысяч стоили примерно так, как сегодня двести.

«Почему так дорого?» - выдавил из себя ошеломленный Саша.

Ответ был нам уже знаком: «Разве вы не видите - это же Иосл Бергнер».

Этим ответом галерейщик дал общий очерк творчества Бергнера, а подробности я узнала позже, когда Рози, приглядевшись к моим неумелым попытками управиться с новой квартирой, приставила ко мне свою уборщицу Оснат.

Я назвала Оснат уборщицей шепотом, чтобы никто не подслушал – политическая корректность требует называть ее «озерет», т.е. помощницей, чтобы, не дай Бог, не обидеть.

Оказалось, что Оснат много лет служила озерет у Иосла Бергнера, она убирала его мастерскую. Рассказ Оснат о ее влиянии на творчество самого дорогого художника Израиля звучал примерно так:

«В мастерской Иосла сначала было очень грязно, окна были такие закопченные, что там всегда было темно. И потому он рисовал свои картины черными и серыми красками. Но я пришла туда и все-все вымыла. Когда я помыла окна, в мастерской стало светло и весело. И с тех пор Иосл начал рисовать картины

розовым и голубым».

Многолетнее общение с Бергнером почему-то навело Оснат на мысль, что искусством может заниматься каждый. Когда ей перевалило за семьдесят, она поступила одновременно в школу танцев и в школу живописи. Чего она достигла в танцах, я не знаю, но результаты своей художественной деятельности она стала регулярно приносить мне в зеленой папке из толстого картона. Она готова была часами перелистывать содержимое папки, хвастаясь своими успехами. Смотреть там было не на что, но отбиться от нее было трудно, и часто на вопрос, нравится ли мне ее искусство, я без раздумий отвечала, что очень.

Вдоволь наслушавшись похвал, Оснат спросила однажды, не хочу ли я получить в подарок одну из ее картинок, на что я с привычной готовностью объявила, что хочу. Она долго мусолила картинки, не решаясь, какую мне подарить, а потом зажав выбранный листок между пальцами, произнесла задумчиво, обращаясь то ли ко мне, то ли к себе самой:

«А может, мне пора уже брать деньги за свои картины?»

И в ответ на мой недоуменный взгляд пояснила:

«Иосл за свои картины всегда берет деньги».

Услышав мой рассказ об этом разговоре, Рози хохотала, как сумасшедшая. Особенно ей стало смешно, когда я добавила к нему потрясшую меня зарисовку из того же событийного дня, Я услыхала дикие вопли Оснат из кухни и помчалась на выручку. Бедная озерет с криками свешивалась с подоконника кухонного окна восьмого этажа в тщетной попытке с опасностью для жизни поймать в воздухе что-то ускользающее и эфемерное.По выяснении эфемерным предметом оказался мусоросборник щетки для ковров, который Оснат пыталась опорожнить из окна восьмого этажа, но по ошибке.выбросила на головы прохожих вместе с мусором. Ее поступок был совершенно необъясним нормальной логикой - ведь на лестничной площадке рядом с нашей дверью проходит удобный современный мусоропровод.

Но Рози со смехом отвергла нормальную логику в применении к нашей общей помощнице, поскольку та руководствовалась какой-то другой, чуждой нам логикой.

С Рози мне всегда было легко и интересно, - она была известной израильской поэтессой, и у нас нашлось много общих увлекательных тем. Мы с ней говорили по-русски, учить меня ивриту она не стремилась, а наоборот, хотела совершенствовать свой русский, привезенный ее матерью в Палестину в первые годы Октябрьской революции. Хоть Рози привезли в Тель-Авив младенцем, по-русски она говорила вполне прилично, это был язык ее семьи – дядя ее был одним из основателей Габимы и даже

одним из мужей Ханы Ровиной.

Сама она говорила о себе так:: «По-русски я гораздо глюпее». Особенно запомнились мне две характерные для нее смешные оговорки:

«Не стоит прислушиваться к мнению этого человека: он не профессионал, а просто любовник»,

И другая, попроще: «Я всегда держу питы в холодце, на случай, если кто-нибудь придет».

Вторая фраза относилась к области полезных советов, на которые Рози не скупилась до последнего дня нашей дружбы, закончившейся ее трагической смертью. Хоть сама Рози была не очень практична, на фоне моего вопиющего непонимания требований и правил новой жизни она выступала мудрой и всезнающей, как Старик Хоттабыч. При виде угрожающей обвалом горы обломков моего земного имущества, у подножия которой пригорюнилась я, она спросила: «Это все, что осталось от багажа?».

Я беспомощно кивнула. Тогда она объявила буднично:

«Значит нужно вызвать оценщика из страховки. У вас ведь есть страховка?».

Я понятия не имела, есть ли у меня страховка. Идея страховки была мне более чужда, чем пляски папуасов – слово «Госстрах» ассоциировалось в моем сознании со страхом, а не с защитой имущества. Но я согласилась с предложением Рози позвонить в Сохнут, и через пару недель нам и вправду прислали оценщика, который оценил наши убытки в приличную сумму, позволившую нам купить наш первый гарнитур для гостиной. Рози научила меня массе полезных вещей – по ее наводке я стала заниматься гимнастикой и продолжаю до сих пор, хоть мой возраст уже изрядно перевалил за ее, а была она когда-то на десять лет меня старше. И в бассейн «Гордон» меня привела Рози, потом она по какой-то причине отсеялась, а я так и осталась, и по сей день проплываю положенные мне метры, с годами, правда, потихоньку уменьшая обязательную норму.

Мы много говорили о литературе, и я как-то перевела для нашего журнала несколько стихотворений Рози. Вот одно из них:

Маргарита (Пока не родится тело мое)

Мягкий снег в московских окошках... Проснувшись
Она не заплакала
Я знаю, шептала Маргарита, я знаю.
Сегодня что-то случится. Кружится поземка,
Дьявол взвихряет снег в московских окошках.

В ином столетье, еще не родившемся,
Словно призрак, бредет человек.
Маргарита выходит на улицу, в руках у нее цветы,
В глазах жажда, чтобы он отыскал ее, наконец.
Бредет человек и не знает, где он найдет приют.
— Ты приди, приди. Отворю тебе двери.
Только приди поскорей.
Бредет человек и не знает, не ведает, где он найдет приют.
У Маргариты цветы увяли, у Маргариты слезы застыли.
Мягко кружится снег, и душу ее похитив,
Дьявол хранит ее,
Пока не родится тело мое.
Свирепое солнце над крышами Тель-Авива,
Душа Маргариты у меня в горле
Жажда ее у меня в глазах, цветы ее у меня в руках,
Я стою на улице под палящим солнцем.

Несмотря на все мои старания большого впечатления они не произвели, - русское ухо плохо воспринимает верлибр, устойчиво взятый на вооружение израильской поэзией.

Зато Рози с успехом перевела мою пьесу «Матушка-барыня», поставленную впоследствии студенческим театром Тель-Авивского университета. Особенно удачно она перевела заглавие – не в силах передать на иврите этот грубый народный эвфемизм, она заменила его на «Има Русия», что означает «Мать Россия». И от этого пьеса приобрела какой-то высший, символический смысл.

К себе домой на чашку кофе Рози пригласила меня не сразу, а только после нескольких недель нашей дружбы. В нашем доме все квартиры спланированы одинаково, так что меня не поразила бы ее просторная гостиная, не будь она так элегантно пустынна. Центр ее сорокаметровой площади занимал только хрупкий диванчик, подкрепленный двумя креслами и журнальным столиком, остальное пространство было пусто, если не считать тропических зарослей высаженных в крупные горшки пальм, фикусов и кактусов. Зато стены были до предела увешаны картинами с разными вариациями знакомых мне узконосых женских лиц с огромными черными глазами. Пока Рози трудилась на кухне, наливая кипяток в фаянсовые чашки с растворимым кофе без ничего – так я впервые узнала, в чем состоит израильский ритуал совместного кофепития, - я бродила от стены к стене, с изумлением разглядывая несомненные лица Рози. Иногда они порхали в райских кущах, иногда райскими птицами свисали со сказочных ветвей, иногда смотрели на мир из

трехстворчатых окон - в каждой створке по лицу. Авторство картин было так же несомненно, как лицо модели.

«Это все ваши портреты?» - ошеломленно спросила я. На этой ранней стадии наша общая Оснат еще не успела поведать мне о своей роли в достижениях местной живописи.

«Мои, - спокойно согласилась Рози, словно в этом не было ничего особенного. – Иосл очень любил рисовать меня, пока не увлекся терками».

И показала мне новый, недавно изданный альбом Бергнера, где на каждой странице резвились терки – в еще более изощренном узоре, чем в предыдущей серии сплетались лица Рози. Терки тацевали парами и хороводами, целовались, воевали друг с другом и занимались любовью

О том, почему Иосл отказался от лица Рози в пользу терок, я узнала еще через несколько лет – это случилось, когда они расстались. Почему они расстались, я так и не узнала, но это было не важно. Важно, что много лет подряд Иосл был не только профессионалом, но и любовником. Этого не знал никто, даже вездесущая Оснат – ведь все эти годы муж Рози был лучшим другом Иосла. Роман Рози с Иослом был страшной тайной, а ей очень хотелось этой тайной с кем-нибудь поделиться. Даже если она все это выдумала. И она выбрала в наперсницы меня. Это был правильный выбор - я подходила на роль наперсницы больше других ее подруг, я была инопланетянином, пришельцем из другого мира, ни с кем из ее круга не знакомая и даже толком не говорящая на иврите. Как-то Рози повела меня на вернисаж Бергнера в его галерею на улице Гордон. Для меня это было тяжким переживанием – я не встретила ни одного знакомого лица в шумной нарядной толпе, заполнившей залы галереи. Для Рози рассказать свою тайну мне было так же надежно, как спрятать ее в запечатанный кувшин и бросить в море. Она и бросила.

И все-таки тайна выплыла наружу. Через несколько лет Рози заболела болезнью Альцхаймера и попала в психиатрическую больницу. Состояние ее становилось все хуже. Однажды ко мне ворвался ее муж, его била нервная дрожь:

«Скажи, ты знала, что Иосл был любовником Рози?».

Конечно, я не могла признаться, что знала. Я сделала честные глаза и спросила:

«А с чего ты взял, что он был ее любовником?».

Он протянул мне какую-то тетрадь:

«Вот, почитай».

Я полистала тетрадь:

«Ты что? Разве я могу прочесть столько страниц на иврите, написанных от руки?»

Он рухнул на диван и спросил:

«Есть что-нибудь выпить? Покрепче!»

Я налила ему рюмку виски. Он глотнул ее одним махом и попросил еще. Немного помолчал, я его не торопила. А потом заговорил:

«Последнее время я навещаю ее все реже – она ведь меня уже пару лет не узнает. А вчера меня срочно вызвали в больницу - она отгрызла себе косточку указательного пальца, ту, на которой ноготь. Она давно уже не чувствует боли и грызла палец долго, наверно несколько часов, но никто этого не заметил, пока всю ее постель не залило кровью. Когда я пришел, постель уже перестелили и палец перевязали. Она лежала тихая и кроткая, вся в белом, очень похожая на свои портреты – тот же крошечный рот и глаза в пол-лица. Я стоял и смотрел на нее, и смотрел, и смотрел, и не мог оторваться.... не знаю, сколько времени я так простоял... И тогда ее лечащий врач, психиатр, решил мне помочь – чтобы я не так страдал, как он мне объяснил. Он вынес мне эту тетрадь, в нее он записывал свои беседы с ней, когда она еще что-то помнила. Он записывал, а она говорила без остановки - о своих романах. Их оказывается было без числа.– она жаждала поделиться с ним мельчайшими подробностями о своих любовниках... Рассказать в деталях, как это было у нее с каждым... Главным любовником был он, - мой лучший друг, много лет, все годы, что мы были друзьями. Она расписала его очень красочно – он был мужик что надо. Она очень на этом настаивала. Я так ее любил, так любил! И всегда знал, что я ей не пара - она была такая красивая, настоящая красавица! Но чтобы с моим лучшим другом, много лет, тайно от меня! А я, болван, ничего не подозревал, ничего! Недаром он написал столько ее портретов!».

«А как он это объяснял?».

«Он говорил, что у нее удивительное лицо».

Спорить с этим было трудно – лицо у нее было удивительное, словно специально созданное для картин Бергнера, и я ухватилась за соломинку:

«Вот видишь! Может, это все неправда? Просто она была не в себе, и выдумала черт знает что».

«Нет, нет, она перечислила такие подробности, назвала даты своих поездок с ним, про которые мне врала, и вообще бог знает чего наговорила. Я прочел эту тетрадь там же в больнице, сел на стул возле ее постели и читал, читал до вечера. Она лежит там тихая, белая, почти безгрешная, и я даже не могу ее ни в чем упрекнуть – она ведь давно перестала меня узнавать. И даже ударить ее, избить, как следует, нет смысла, она ведь давно перестала чувствовать боль. Но я-то не перестал!».

Все это было ужасно, и я не знала, как его утешить. Я стала бормотать какие-то пошлые глупости, все время чувствуя, как фальшиво звучит мой голос. Он сказал:

«Ладно, хватит! Я уверен, что она все тебе рассказала!»

Я заплакала, а он поднялся и ушел, не прощаясь. И я осталась вся в слезах, чувствуя себя без вины виноватой.

Вскоре после этих событий Рози умерла, но я по-прежнему всегда держу питы в холодце, на случай, если кто-нибудь придет. Недавно мне посчастливилось на какой-то распродаже купить авторскую литографию картины Иосла Бергнера, на которой Рози изображена в виде цветка на высоком стебле. Иногда, когда никого нет дома, она подзывает меня кивком головы и шепчет:

«Он был не профессионал, а просто любовник».

Я уверена, что это не о Иосле, а о ком-то другом, - ведь Иосл настоящий профессионал. А был ли он к тому же еще и любовник, не знает никто, даже Оснат. Это так и останется тайной – моей и Рози.

ШУЛАМИТ АЛОНИ

Не знаю, многие ли сегодня помнят Шуламит Алони, но всего несколько лет назад она была одной из ведущих фигур израильской политической жизни. Она была создательницей левой партии «Рац», потом ее вытеснил Иоси Сарид, превративший «Рац» в «Мерец», потом Сарида вытеснил Иоси Бейлин, потом Бейлина вытеснил кто-то помельче, а дальше пошла уже такая мелюзга, что одного от другого не отличишь.

Мы познакомились с ней почти сразу после переезда в наш замечательный дом в северном Тель-Авиве. Трудно перечислить всех выдающихся людей, живших в те времена в этом одиноком небоскребе, шахматной ладьей торчащем среди невзрачных социалистических пешек шестидесятых годов.

На шестом этаже жила знаменитая манекенщица, королева подиума, двуликая Карин Дунски. Двуликой я ее назвала за то, что у нее было два лица - одно, блеклое, бесцветное и невыразительное, в котором она поднималась в лифте вверх на крышу загорать или вешать белье. Другое – умопомрачительно яркое лицо роковой женщины, которое было нарисовано поверх первого, когда она спускалась в лифте вниз с большой сумкой в руке, торопясь на очередной показ мод.

На десятом этаже жил всемогущий глава «Шабака», то-есть Общей Службы Безопасности, ныне покойный Авраам Бен-Тов. Тогда имя главы «Шабака» было строжайше засекречено, и я много лет ездила в лифте с ним, с его голубоглазым мелкокудрявым сыном, и их золотистым мелкокудрявым эрдельтерьером, портретно похожим на сына, даже не подозревая, какая честь мне оказана. Как-то я спросила, - просто так, из чистого любопытства: «Авраам, кто ты по профессии?». Он ответил натренированно, не моргнув глазом: «Я бухгалтер».

И я ему поверила, тем более, что его жена Йохевет, работала медсестрой в нашей больничной кассе – она делала нам уколы и измеряла давление, что вполне приличествовало скромной жене бухгалтера.

На девятом этаже, в точности над нами жила громогласная Шула Кениг, второе лицо в партии Шуламит Алони, претендентка на должность мэра Тель-Авива. Она была так громогласна, что наш предшественник, бывший хозяин купленной нами квартиры, он же бывший главный архитектор отеля «Хилтон», защищаясь от Шулы, построил под потолком гостиной специальное звукозащитное перекрытие. Это

перекрытие мы не убрали до сих пор, хотя Шула, разочарованная провалом своей политической карьеры, уже давно сбежала в Нью-Йорк. Пыталась ли она стать мэром Нью-Йорка, не знаю, но знаю наверняка, что не стала.

Но в то время светлой молодости израильской политической жизни, Шула была полна надежд и амбиций. Не успели мы как следует освоиться в своем новом жилище, как она явилась к нам с огромным букетом цветов и пригласила к себе на интимные посиделки партии «Рац». «Будет сама Шула, - громогласно объявила она, имея в виду Шуламит Алони. – Я хочу вас с ней познакомить».

Мы безвольно закивали в знак согласия, не в силах никому отказать, тем более, что мы тогда еще толком не понимали, кто есть кто.

После искрометного приземления у нас начался мучительный процесс привыкания к новой жизни. Моя воля была так ослаблена, что я никак этим процессом не управляла, а только сонно подчинялась требованиям окружающих, зачастую доброжелательным, но всегда противоречивым. Я послушно шла и ехала туда, куда меня везли, - то на арабский рынок в Старом городе, то в кнессет, то во дворец президента, то на съезды каких-то неразличимых поначалу партий, однообразно жаждущих заполучить наши героические лица для своих предвыборных плакатов.

Домогательства однообразно неразличимых партий были весьма практичны, так как наши лица в те дни были народным достоянием. Помню, однажды, на завтра после очередного выступления по телевизору, я зашла на почту, где публика, опознав меня, дружно защебетала, довольная собственной прозорливостью. И только один пожилой человек не захотел присоединяться к общей радости. Нахмурив брови, он спросил:

«А с чего вдруг тебя по телевизору показывали?»

«Я недавно приехала из СССР», - охотно объяснила я, считая такой ответ исчерпывающим.

«И за это тебя показывают всей стране? – возмутился он. –

А я уже тридцать лет как приехал, и меня до сих пор ни разу на телевидение не пригласили!»

В ту минуту я готова была ему позавидовать – у меня не хватало сил на это головокружительное коловращение, я способна была только притворно улыбаться и согласно кивать в ответ на любую фразу. Сказать я могла немного: хоть время от времени я ходила в ульпан на коллективные уроки иврита, незнакомые слова тут же бесследно выскальзывали из моей парализованной памяти.

В назначенный день мы отправились на девятый этаж знакомиться с Шуламит Алони, все еще смутно представляя, кто она такая. В просторной гостиной Кенигов было полно народу, все веселые, нарядные, много молодежи. Героиня вечера, Шуламит Алони, сидела в главном хозяйском кресле в центре плотного полукруга сторонников, чем-то неуловимо похожая на миловидную болонку: та же выдвинутая вперед шустрая мордочка, те же умные карие глазки - а главное – те же светлые кудряшки, обрамляющие все это сверху. Нас усадили рядом с нею как почетных гостей и засыпали вопросами. Мы извинились за свой иврит и перешли на английский – слава Всевышнему, в этой компании с английским не было проблем. И все же гостям одной Шулы и почитателям другой быстро надоело говорить по-английски, и они перешли на иврит, все еще делая вид, что включают в свой разговор и нас. Мы умолкли, пытаясь уловить суть обтекающего нас оживленного разговора и старательно кивая при каждом уловленном невзначай знакомом слове. В водовороте слов чаще всего мелькало выражение «схует адам», нам совершенно непонятное, но поражающее своей матерной – для нас – составляющей.

Через какое-то время Шула-хозяйка принесла кофейник и поднос с чашечками, и гости разбились на мелкие группки, оставив нас наедине с главной Шулой. Тогда она перешла к делу и спросила прямо, в лоб, по-английски, чтобы не было недопонимания, готовы ли мы немедленно вступить в ее партию.

Мы растерялись – мы ведь совсем недавно приехали из Советского Союза, и предложение вступить в партию, в любую, самую что ни на есть благородную, - звучало для нас почти оскорбительно. Тут же вспоминался анекдот о муже, который признался жене, что он вступил в партию, на что она отвечала: «сколько раз я просила смотреть под ноги, чтобы не вступить в какую-нибудь дрянь!»

Заметив нашу растерянность, Шуламит поспешила подсластить пилюлю: «Наша партия представляет цвет израильской культуры – у нас есть писатели, художники, режиссеры. Вам, людям искусства, будет интересно и полезно с ними познакомиться».

Я теперь не сомневаюсь, что она говорила правду – возможно, нам это было бы полезно. Но мы не вступили ни в ее партию и ни в какую другую, хоть нас прямо-таки волоком волокли в каждую. Нас приглашал на ланч в свою виллу в Герцлии тогдашний секретарь Рабочей партии Нисим Гилади, к нам зачастил представитель Ликуда, будущий посол Израиля в США, Залман Шоваль, а Шимон Перес согласился встретиться с группой

выходцев из СССР «только в доме профессора Воронеля». Я объявила категорическое «нет!» - не из личного отношения к Пересу, а из-за своего отвращения к хозяйственной суете. В ответ наши интересанты объявили, что всю организацию встречи они берут на себя. И правда – какие-то хорошенькие женщины приволокли коробки с чайными сервизами и домашними пирогами, их симпатичные мужья привезли десятки стулев, а после встречи все честно убрали и протерли пол.

Но добра от этой встречи не получилось.!!! Потому что, когда Перес стал доходчиво объяснять, как славно их партия способна найти общий язык с палестинцами, невежливый Воронель спросил, не лучше ли сначала найти общий язык с «Ликудом». На что Перес сверкнул на него недобрым глазом и усек, что из русской группы веревки вить будет непросто.

Впрочем, не все из наших были такие независимые, или непрактичные, что скорее всего одно и то же. Они охотно дали вить от себя веревки в обмен на приличную компенсацию, - кто кому, одни левым, другие правым. Может, я смотрю на вещи слишком цинично, но мне кажется, что их выбор – кому дать, редко был идеологическим, а чаще просто зависел от размера и формы компенсации.

А мы не дали никому, и наш журнал «22» прожил уже 31 год в честной бедности, тогда как другие журналы !!! странным образом закрылись один за другим, когда все веревки из их издателей были свиты и компенсировать стало нечего.

Не получив от нас желаемого, Шуламит Алони, как и все другие, пожала плечами и забыла про нас. Тем бы наше знакомство и закончилось, если бы не их Величество случай. Случай свел меня с ней в таком месте, где я никак не ожидала ее встретить. Мы встретились в доме уже описанного мною характерного персонажа – лихого миллионера Эфраима Илина. Я встречала у Илина многих выдающихся людей, но все они обычно в пандан хозяину грешили правым уклоном.

Однако на одном из гостеприимных илинских гостеваний, где подавали Дуэт виолончели со скрипкой, а спиртное на радость русской братии лилось широкой рекой, я нос к носу столкнулась с ведущей фигурой левого движения. За прошедшие двадцать лет она, несомненно, слегка сдала, но осталась той же очаровательной болонкой со светлыми, на этот раз несомненно крашенными, кудряшками над умными человеческими глазами. Как ни странно, она меня узнала – через столько лет! Я не скрыла своего удивления по поводу ее дружбы с Эфраимом, и она объяснила мне, что их связывает не политика, а любовь к классической музыке.

«А как ваши дела?», - любезно осведомилась она. Не то, чтобы ее интересовали мои дела, но она была профессор права и женщина воспитанная.

Тут-то я ее и поймала - в ближайший месяц как раз должна была выйти в престижном издательстве «Кетер» моя первая книга на иврите, перевод романа «Ведьма и парашютист», весьма глупо переназванный издателем пошлым именем «аМалькодет», т.е. «Ловушка».

«О-о! – округлила глаза Шуламит. – Первая книга и сразу в «Кетере!» А как она продается по-русски?»

Я без ложной скромности сообщила ей, что по-русски мой роман имеет большой успех. В карих глазах отразилась торопливая работа мысли. Время тогда было горячее – приближалось лето 1999 года, ознменованное выборами огромного накала – израильская левая жаждала сбросить Биби Натаниягу и поставить на его место Егуда Барака. Теперь мы знаем, что это единоборство закончилось поражением Биби и Пирровой победой Барака, приведшей к взрыву террора и ко второй интифаде. Но тогда никто не знал будущего и накал борьбы перешел все разумные границы – так, например, моя физеотерапистка в больничной кассе отказалась меня обслуживать, когда узнала, что я собираюсь голосовать за Биби.

Партия Шуламит Алони, тогда уже не «Рац», а «Мерец», естественно, шагала в первых рядах борцов против ненавистного Биби. Но хитрая Шуламит не спросила меня, за кого я собираюсь отдать свой голос. Наоборот, она сходу предложила сразу после выхода романа взять у меня интервью для своей популярной еженедельной радиопередачи «Правая, левая где сторона?». Приветливая и любезная, она проявила не только горячий интерес

к моему роману, но и отличное понимание пружин успеха:

«Как вам удалось заинтересовать такое престижное издательство? У вас там есть знакомые?».

Я тогда сама еще не знала, как мне это удалось. Секрет моей неожиданной удачи открылся мне чуть позже, когда я приехала забирать положенные мне по контракту 40 экземпляров. Сидевший у дверей издательства вахтер, услыхав мою фамилию, перешел на русский:

«Вы Нина Воронель? Так знайте, вашу книгу издали благодаря мне!»

Я онемела: «При чем тут вы?».

Вахтер нисколько не смутился: «Подходит ко мне как-то Йон(тогдашний главный редактор «Кетера)и протягивает вашу книгу «Ведьма и парашютист». Почитай, - говорит, - и скажи мне,

что ты думаешь. Я стал читать и восхитился – чудо, а не книга! Я так Йону и сказал – надо, говорю, издать. Вот он и издал».

Проверить, правду вахтер говорит или сочиняет, у меня не было возможности, но я поблагодарила его от всего сердца.

До выборов оставалось чуть-чуть больше месяца. Как только мой роман вышел из печати, я попросила отправить его Шуламит Алони, - никто не спрашивал у меня ее адрес, все знали его и так. Через несколько дней мне позвонил начальник избирательного штаба партии «Мерец» Йоси Раз.

«Нина, дорогая, - проворковал он любовно. – Шула так занята сейчас, что попросила меня поблагодарить тебя за присланную ей книгу. Она в восторге от твоей книги и от твоего успеха. Она мечтает взять у тебя интервью для своей передачи».

Я была вне себя от радости – и ежу было ясно, что интервью с Шуламит Алони обеспечивало моей книге высокий уровень продаж. Но Йоси не дал мне радоваться долго:

«Я думаю, что вы оба - и ты, и твой муж, профессор Алекскандр Воронель должны немедленно подать заявления о вступлении в нашу партию».

Я обомлела – вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Отказываться было глупо, согласиться невозможно – с то времени той памятной встречи у Шулы Кениг мы сильно продвинулись в понимании израильского Ху из Ху. И я забормотала неразборчиво – то-есть так, чтобы нельзя было разобрать, я отказываюсь или соглашаюсь:

«Так сразу я не могу. Я должна посоветоваться с мужем...он вернется поздно и тогда обсудим...»

«Чего тут обсуждать!» – перебил мой лепет Иоси, мужчина нетерпеливый и решительный. Я его немного знала, так как он был председателем культурной комиссии, давший какую-то подачку на театр Леонида Хаита, ставивший мою пьесу. Не так близко, как знала Мухаммада Бакри председательница кинокомиссии, обсуждавшей заявку Чаплиных на документальный фильм о нем. Прочитав заглавие заявки, председательница, дама белокурая и сексапильная, воскликнула во весь голос, не стесняясь присутствующих:

«А, Мухаммада Бакри? Я его знаю, я с ним как-то трахнулась – ничего особенного!».

Мое недостаточное знание Йоси Раза помешало мне предвидеть дальнейшее развитие событий. Не успел наш разговор завершиться, как зашуршал факс и из него выползли два одинаковых бланка для поступление в партию «Мерец».

«Бланки получила? – спросил ясновидящий Йоси. – Для тебя и для мужа. Так что не тяни, заполняй скорей, - Шуле не терпится сделать интервью о твоем романе».

И не дав мне осознать связь между моим романом и его бланками, повесил трубку. Я покрутила бланки в руках и, не найдя им иного применения, изорвала в клочки и бросила в мусорную корзинку.

Через пару дней Йоси позвонил опять и сразу взял быка за рога – наступили дни предвыборной лихорадки, и времени у него и впрямь не было:

«Что-то я не вижу ваших заявлений о вступлении в нашу партию. Ты что, забыла их отправить? Время подпирает, можно факсом».

Я начала плести что-то невразумительное о наших обязательствах перед Щаранским, с которым мы были связаны еще в Москве. Йоси мои объяснения не дослушал, ему все стало ясно с первых слов:

«Ладно, твои обязательства дело твое. А жаль, Шула так хотела сделать с тобой интервью о твоем романе!».

И больше я их не видела и не слышала – ни его, ни Шуламит Алони.

Миша Юдсон

Сначала я считала его человеком-бабочкой. Кто бы еще мог без устали порхать от нас к вам и от вас к ним, а от них – опять к вам, а потом опять к нам, и обратно к ним, всегда улыбаясь и расточая комплименты направо и налево? И не в том дело, что нет у него своей крыши над головой и что все его земное имущество умещается в двух пластиковых мешках с исподним и парой рубашек. А в том, что такое не отягченное будничными заботами порхание его не утомляет и не огорчает – во всяком случае, он никогда не жалуется..

Ему ничего не стоит в самую страшную июльскую жару смотаться из одного конца города в другой за какой-нибудь книжкой или бумажкой, он так и говорит: «Мне это ничего не стоит, у меня проездной билет на автобус».

Как будто дело не в усилии, а в цене билета!

И форму работы он себе добровольно выбрал летучую, чтобы нигде ни к чему не быть прикрепленным, что для бабочки значит - ни к чему не пригвожденным. Куда только мы его ни устраивали на службу! И нигде он больше двух недель не смог задержаться, словно какая-то сила гонит его с места на место - порхать с ветки на ветку.

Но постепенно присматриваясь к его странному, единственному в своем роде, образу жизни, я поняла, что он не человек не бабочка, а инопланетянин, заброшенный в наш мир с неведомой целью. Я могу привести факты, наводящие на эту мысль. Например, кто видел, как Юдсон ест или пьет в течение дня? Сколько раз я пыталась угостить его обедом, напоить кофе, чаем или хотя бы водой, и всегда безрезультатно. Он всегда отказывался наотрез, напоминая мне этим героя повести Абрама Терца-Синявского «Пхенц». Пхенц был инопланетянин, не человек, а растение, он скрывал под одеждой привязанные к его стволу ветки, а когда оставался один, поливался водой, как фикус в горшке. Один лишний глаз у него был закутан в носок и запрятан в ботинок, а второй – скрыт мнимыми волосами на макушке.

Где у Юдсона скрыты лишние глаза, мне неизвестно. Известно только, что по вечерам в большой компании Юдсон позволяет себе жевать что-нибудь съедобное, но только в случае если он может запить это съедобное спиртным, притом не всяким, а не ниже 40 градусов крепости. Я объясняю это отклонение тем, что таинственные структуры, пославшие его на нашу планету,

неплохо сообразили, как отвести от него подозрение: после восьми вечера они на короткий срок включают какой-то прибор, позволяющий Юдсону делать вид, что он заталкивает в рот пищу. Куда она потом девается, это тайна, - но очевидно, что для ее аннигиляции необходимо растворить ее в некотором количестве алкоголя, часто весьма внушительном.

Он распространяет слух, что где-то в Росси у него есть брат, бывшая жена и даже дочка, которых никто никогда не видел, - ни лиц, ни фотографий, ни адресов, и голосов их никто никогда не слышал. Дважды он сваливался нам на голову из ниоткуда. Первый раз – почему-то из Норвегии, хоть по всем бумагам он чистокровный еврей и еврейский сын: Юд-сон, и Норвегия ему ни к чему, мог бы и прямиком приехать. Но почему-то через ОВИР проходить не захотел, я думаю, боялся их проверок, и дал кругаля через Норвегию.

Начал он с того, что позвонил нам, хоть был совершенно с нами не знаком, и спросил, нет ли у нас для него чего-нибудь лишнего из одежды: у него, мол, все размеры точно, как у Саши Воронеля. Так и оказалось – все размеры совпали, и воротника, и туфель, и трусиков, - похоже, там, откуда он был послан, все было заранее предусмотрено. Мы, чтобы его поддержать, предложили ему редактировать Сашину книгу «Трепет забот Иудейских», и он редактировал очень толково. Мы даже поверили, что он годится в редакторы, но впоследствии это умение у него почему-то больше не проявлялось, - наверно, отключили, или еще какая-нибудь неполадка вышла.

Потом он надолго пропал, и опять появился через много лет, Он сам говорит, что через семь, а я не считала. Появился не известно откуда – объясняет, что возвращался в Россию ухаживать за больными родителями. Если принять версию инопланетянина, то родителей у него никаких не могло быть, может его на эти семь лет отправляли на другие планеты, где есть жизнь.

Чему он там научился, не знаю, но компьютером он так и не овладел, что для человека слова крайне странно. Уж как мы его учили, как учили, - компьютеры дарили, учителей приставляли, и все без толку. Не могу, твердит, и все. Мысли записывает круглым детским почерком на крохотных листках - восьмушках, и всегда носит эти листки с собой в неразлучной черной сумке. Я думаю, в этой сумке у него спрятан элемент питания, и потому он ни на миг с ней не расстается. Даже в нашей квартире несет сумку с собой в уборную, оставить ее возле кресла на полу боится. То ли он там, в уборной, через эту сумку выходит на связь, то ли тайно подпитывает свой организм, но

что-то за этим скрывается.

Самое удивительное, что его все любят. Нет такого человека, которого бы любили все, - всеобщая любовь противна человеческой природе, более склонной к неприязни, если не к ненависти. А сколько есть оттенков непрязни, всех не перечесть – и зависть, и ревность, и жадность, и недоверие, и охрана своей территории, и уязвленное честолюбие, и сомнение в собственном превосходстве и т.д. и т.п. А на Юдсона не приходится ни одного. Кого ни спроси, со всеми он друг, и никому ни враг, ни соперник. Вот и закрадывается сомнение в его человеческой природе, потому что только инопланетянин способен войти в человеческую гущу, не отставив следа, не оставив тени, и прокрасться сквозь нее, не потревожив вод.

А как объяснить полное отсутствие тщеславия? Особенно в нашем кругу, сплошь состоящем из непризнанных гениев, которым их непризнанность представляется случайной, а гениальность – несомненной. У нас все или в восторге от себя или в отчаянии от черствости окружающих, и только Юдсон всем доволен, и никаких лавров ему не надо. Недавно у нас скопилось немного лишних денег, и мы предложили Юдсону издать книгу его рецензий, - вид его творчества, выгодно отличающий его от всех других рецензентов.

Издать – за счет журнала! И ничего не вышло! Ему нужно было только собрать все эти рецензии вместе и вручить нам, но он так этого и не сделал. Мы долго его уговаривали, даже умоляли, но он вяло отбивался, бормоча невразумительное: «Да кому это нужно?». И так свои рецензии под одну крышу не собрал. Похоже, там, откуда он прислан, такая деятельность не в чести. Или ему не позволили, чтобы не засветился - ведь из полного собрания его сочинений так и выпирает его нечеловеческая сущность.

Но это все косвенные доказательства. А прямое доказательство кроется в отношениях Юдсона с литературой. Если некоторые счастливцы видели иногда, как он ест, пусть хоть по вечерам и на людях, то, как он читает, не видел никто. И когда он читает, тоже не понятно, ибо он целыми днями порхает, нигде не преклоняя головы. И однако он все читал – все, что вышло вчера, позавчера, три года назад и во времена Льва Толстого, Честертона и Пушкина. И не только читал, но помнит наизусть. А человек, даже бабочка, всего этого помнить не способен. Способен только компьютер, которым он, по его словам, не владеет.

Но зато он владеет русским языком, как никто мне знакомый не владеет. Такими перлами каждую строчку свою пересыпает, что только диву даешься. Первый раз мы эту его

удивительную способность обнаружили, когда он написал нечто вроде рецензии на мою трилогию «Готический роман». Я с опаской называю его опус рецензией, прекрасно понимая, что рецензии так не пишут. Чтобы не быть голословной, приведу примеры.

Из рецензии на 1-й том «Ведьма и парашютист» («В и П»):

«А как Клаус спасал своего друга-поросенка!.. - не шучу, эта штучка будет посильнее "Темы и Жучки"! Здесь триллер (так сказать, Смит-Вессон) смолкает и вступает сплошной Сетон-Томпсон.

В Замке ползает призрак Замзы, и эхо Эко маятником отмахивает в гулких подземельях. Для меня Замок, конечно, не тевтонский, а центонский - воздушный, сотканный, очень реальный ("В и П" - это также "Время и Пространство").

А вот из рецензии на 2-й том «Полет Бабочки»:

«...и мы отправляемся в "Полет бабочки".. Библиотека расходящихся тропок, где и сам Борхес пробирается наощупь вдоль стен, увитых "то ли жасмином, то ли жимолостью", Ох, Набоков бы перевернулся и ухватил бы за бочок! - и тутошние бабочки, конечно же, от него, внимательного (так сказать, из замка Гумбертус Гумбертус), а не из здешнего кабачка, который - по мне, так - перелетный кабак Гилберта Кита Честертона, да и библиотекарь не от мира сего - из честертоновского же "Возвращения Дон-Кихота", да и дело происходит в каком-то подозрительном Честере... Есть и еще кит, как-то: Агата К. - агенты в замкнутом пространстве, такой ближневосточный экспресс без колес. Б.Шоу подмигивает эпизодическим профессором Хиггинсом. Чайные церемонии, шпион-китаец; двуликий Янус - Ян фон Карл; зеркальные Лу - Ули, "инь" и "янь" (для тех, Кто Понимает, для людей "ин", а Посторонним - В)».

Это не пьяный бред, а весьма точное изложение содержания романа со всеми его образами и персонажами, - просто (Ох, как непросто!) все подано в ракурсе всей мировой литературы, хорошо усвоенной, переваренной и пущенной в ход на новом этапе. И даже у меня, знающей этот роман наизусть, голова идет кругом от юдсоновской чертовщины:

«Вообще же трилогия называется "Гибель падшего ангела", у многих персонажей есть сложенные крылья. Немецкая ведьма Инге - бывшая стюардесса, израильский наш парашютист Ури - летающий в тучах всадник, гордый и бесстрашный. И любят они друг друга, и прямо парят на простынях, как над местечком. А уж разнообразные валькирии - все эти вильмы, доротеи, ульрики, лу - полет, бабочки (в смысле - эх, бабоньки! Пора по

пабам!), всего попутного вам!.. Да и малость святой Клаус, пролетая над своим гнездом кукушки, периодически посылает приветы к Рождеству. Зато злой Карла в очередной раз пролетает (и поделом ему, пад... Ангелу!), хотя вроде уносит ноги - но он ли лично? Мелькнул лишь, как клюв, козырек спортивной шапочки (или берет с пером?) - только вот сам демон рядом с Патриком Рэнди - иль очередной подставной баварский Людвиг?..! Но - ура! - Ури-Ули улетает в погоню, он ведь тоже не промах и у него невидимый (малиновый) берет набекрень...».

Просто чудо – все в точности по моему роману, прочитано и перемолото, но при этом неузнаваемо.

«Вечер. Несколько тоскливо. Схожу-ка я в Библиотеку - там свет, смех, тепло, все уже знакомые. Сюда так и не приходит инспектор, но имеется спектр - Каждый (и даже не в день Охотника) Желает Знать, Где Сидит... Есть тут и желтые, есть знать... Странный, закутанный в цветной туман мир Библиотеки. Других брегов, кисель-лазурных, сотри случайные черты - на крыльях бабочек ажурных сюда слетаются мечты. Сам создал, вот этими руками, зажав авторучку...

Когда мы, отложив очередные весла, свешиваемся с книги - иногда дно видно, а иногда - фиг. Ведь что-то мнилось мне, что-то чудилось, свербело, и - осенило, осенило (где-то в декабре), дошло, наконец: Ури-Ули - ка-анешно же Улисс! ("А хули?" Э.Лимонов) Простой наш еврейский Одиссей - Райх там, или Блюм какой-нибудь... Инге - помотавшаяся по свету Цирцея, осевшая подле своего свинарника. Амазонки-лесбиянки - профессорки Доротея с Вильмой. Златокудрый и босой викинг-вегетарьянец - лотофаг Толеф, etc. Эт Цетера, Итака далее!..

Сказано же - Гомер, Мильтон и Пани... простите, Борхес. В Мильтоне, безусловно, слышится милиционер, в данном детективном случае - некий грядущий интерполицай, который вдруг возникнет из машины и снимет со стены висящее...».

И, наконец, из рецензии на 3-й том «Дорога на Сириус»:

«Но, чу - чего так жалостно поют под полом? Или ангельски - с колокольни?.. А это зовут нас в дорогу - на Сириус, к звездам, сквозь тернии серых буден, по сверкающему радужному мосту - увы, как выясняется, в последний путь... прямиком в подземелье Ордена "Дети Солнца" (дети-то они дети, только не солнца, а подземелья) - в логово, где ходят в балахонах, а Мастер очерчивает круг мечом, и лампочки летают, как гроб в "Вие"... И бродит фройляйн Юта - еще бы, зна-аем мы этих фройляйн да герров из штата Юта, Солт-Лейк-сити городок!.. Все они одним мирром (или серой?)...

Холод каменных плит крыльца, холодная каменная скамья

церкви, ледяной пол колокольни: этот начальный могильный лед и конечный могильный пламень... "Огонь, которым мы все заканчиваем!" - как кричал Азазелло».

Ну закрутил Юдсон! Воистину, закрутил! Да мой ли это роман или это что-то другое, вполне божественное, а, впрочем, может, сатанинское – после такой рецензии уж я сама не знаю, где начала, где концы.

Меня могут упрекнуть, что я слишком много цитат из рецензии Юдсона привела, - что ж, они будут правы, цитат и впрямь много, но ведь до чего хороши! И где их кто-то после нас прочтет, если он книгу рецензий издать не пожелал? Вот я и решилась увековечить, на зло недоброжелателям. Моим, конечно, - как я уже говорила, у Юдсона недоброжелателей нет.

Через пару-другую подобных рецензий литературный наш народец сообразил, какая это ценность - получить на свои писания отзыв такого корифея. Выстроилась очередь молящих о милости, но наш герой не всем подает, а иногда как поддаст, так не знаешь, радоваться или плакать.

Вот отрывок из Юдсоновской стряпни в ответ на повесть Якова Шехтера «Торквемада из Реховота»:

«СОБЛАЗН, ИЛИ ЗИГМУНДИЗМ»

"Чем дальше влез - тем слаще бес". (Гойская поговорка)

.. Так Шехтер и волочит по своей, безусловно, занимательной прозе этот унылый столб иудаизма. А ведь сама проза вовсе не о том, ведь все тот же Фрейд основательно переночевал в текстах Шехтера. Либидо льется, как из бидона. Сдерживаемые, мучительно стиснутые (словно прищемленные тестикулы), сознательно загоняемые вглубь подсознания страсти героев, не имеющие возможности мирно выплеснуться, эякулировав, - приводят к неврозам и комплексам...Редкие для русского слуха слова "Торквемада" и "Реховот", прочтенные по-еврейски, справа налево, дают дивный результат. "Торквемада" - "Адам Ев крот", то есть существуют множественные (пусть последовательно - не все сразу) Евы и Адам, который врывается, прорывает (здесь дуализм - речь как о земле, так и о дефлорации) их уютные мохнатые норки. А вот и слово "Реховот" - "то во хер"! Это, опять же, сплошной фрейдизм-зигмундизм: гордое восклицание, уведомление, похвала самца перед стайными и стройными, бродящими вокруг иешив и строек самками, истекающими соками...».

Я думаю, комментарии излишни, особенно если учесть, что Шехтер человек благочестивый – при кошере, кипе и таллите, - да к тому же и прозу свою подчиняющий благочестию. Трудно представить, что его порадовали охальные выдумки Юдсона, но деваться ему некуда – рецензия опубликована в 142 номере журнала «22», родном приюте и всех других юдсоновских хулиганств.

Для оценки качества этих литературных хулиганств я ввела специальную величину: плотность «Юдсонов», т.е. количество «Юдсонов» на страницу текста. Плотность Юдсонов весьма нерегулярна, иногда переваливает за сто, как в рецензии на «Полет Бабочки», иногда сокращается до десяти-двадцати, но эффект всегда неотразимый. Вот отрывок из поэмы, посвященной «Окнам», литературному приложению к газете «Вести»:

«Каждый четверг, с утра, отринув быт и абракадабрье бормотание автобусной биомассы (о, колено Даново и Эгедово!), я проезжаю пяток остановок, дабы купить "Окна". Нужно спешить, пока не расхватали добрые люди - есть, есть еще не один человек, который отныне стал четвергом! ... "Окна" ныне заныканы, сверкающие гранями - пища духа в чистом виде, и открывашки не надо - да в присест, да с потрошками! А мы смиренно, наглотавшись иных пустот, соглашаемся - совсем другие изданья потеряли стыд, одичали, осточертел газетный гепатит, жуем в печали, стал скучен вечный путь плоти, лучше сбить плот и плыть туда, где интеллект, как Гек и негр Джим - к томам подшитых культурных пластов... В их мел и карсты... Уходят "Окна" в плаванье и светят маяком!.»

А вслед за комплиментами, на которые Юдсон большой мастер, идет нечто неожиданное и весьма интересное:

«Так и наши "Окна" - отворишь по четвергам - и вглядываешься в бездну. Сколько всего! О добре и зле, о среде обитания... Сей непростой конвейер не знает простоя. Иногда я думаю - может, это не у них конвейер, а это мы, читатели, ползем по движущейся газетной ленте, а "Окна" на нас смотрят, изучают? Проявляя внимание к нашим слабостям и страстям…».

Вот и проговорился, подсознание выболтало тайну – это ведь у него конвейер, а мы ползем по движущейся ленте, и он нас изучает, проявляя внимание к нашим слабостям и страстям.. Потому его все любят – за особое понимание и внимание к нашим слабостям и страстям. Пока мы теряем бдительность, он наблюдает за нами своим третьим глазом, спрятанным то ли в ботинке, то ли где-то еще под одеждой!

Но Юдсон пишет не только рецензии. Не говоря уже о

знаменитой «Лестнице на шкаф», - ее все знают, хочу процитировать несколько абзацев из повести «Регистрация» – можно ли назвать эту штуковину повестью, не уверена, но не придумано еще слово для определения текста с такой концентрацией «Юдсонов»:

Сюжет прост: автор прилетает в Москву из Тель-Авива в гости к брату и узнает, что ему необходимо зарегистрироваться. Сюжет у Юдсона не составляет сути, суть слагается из юдсоновской чертовщины словесных игр, слова живут своей жизнью. – они сплетаются в танцах, перестраиваются в акробатических номерах, вступают друг с другом в бой и опадают хлопьями над полем сражения.

Главное – не приключения автора, а необыкновенные приключения слов.

Все начинается с прилета в Москву.

«У отлетающей души - глаза хрустально хороши!

Сели, поели, прилетели. "Наш лайнер совершил посадку в аэропорту Внукодедово… Температура за бортом… Местное время - третья стража, первый обход. День от бани второй, шестое августа по-старому, Преображение Господне. Ох, батюшки, простите, еще - дождь хлещет…

Дождь августейший, летний, сколько зим! Хорошо взойдут грибы. А вот сено подмочит: уж не валяться в скирдах, не мять киприд!

Через низкий люк в хвостовой части, волоча сумку и почесывая собственную затекшую, засидевшуюся в полете хвостовую часть, спустился по шаткому наклонному трапу на мокрые бетонные плиты. Ступил на русскую землю опосля разлуки - эх, Негорелое! Беляево, Чертаново, Неурожайка тож… Вот я уже и за шеломянем, в смысле - за чертополохом, как рубал атаман Краснов. Здравствуй, нос красный! Добрался. Матерь моя Божья, Елизавета Смердящая, это ж я, твой сын полка, Ваня, тьфу… Мишка Юдсолнцев, спьянца заплетаюсь малешко»

Все попытки зарегистрироваться кончаются ничем – не хотят нашего Юдсона регистрировать, ни за какие блага. С горя отправился он на стадион, футбол смотреть.

«Вокруг плебс хрустит чипсами, сосет из лапы пиво, щурится на зрелище, довольно разевая пасть. Речь, конечно, окрашена лексически - как будто лекстрические лампочки цветной гирляндой над клубом перед Рождеством. Орут на судью: "Свисти в свой уд, он тоже с дыркой!". Но вообще на поле смотрят мало, не для того собрались - талдычат о высоком, о наболевшем - что пра-альна Кесарь олигархов прессует. День первый, думал я. И был вечер, и было быдло - евразиатчина, красные арапы, сон

красного петуха в красном тереме, детство, годы, жизнь багрового острова. Из предложенных даров народ выбирает с юношеских нарымов знакомое - нары, норму, пайку. Это его уютный, накатанный этапами мир. Лагпункт всеблаг, а кум не критикуем. Так думал я, мудр и печален.

Россия, осень, ахинея...».

Но Россия оказалась Россией, без всякой ахинеи – налетели на нашего незарегистрированного бедняжку всадники с кистенями, и пришел бы конец израильскому гостю, если бы не умел он быстро бегать. Он и припустил:

«...бежал я булыжниками Большой Ордынки. В голове виденья мелькали, звуки подпрыгивали: "Вперед, двуногое без перьев! Поет нам ангел на мосту - там, за рекой, в тени деревьев, под сенью девушек в цвету!"

Так бежал он до самого вечера, не переводя дыхания, только литературно обсасывая собственный бег и выстраивая в голове злобные наветы на своих неотступных преследователей:

«Ущербная луна тускло глядела из-за расступившихся облаков - свет неживой и желтый, снулый свет снов, слепленных из той же человечины. "В сиянье красных лампад - запирайте етажи" - жуткие заклинания Блока, в колбе тех дьявольских вьюг выведшего двенадцатиглавого гомункулуса-дракона, движущегося по мертвому ледяному городу, волоча тяжелый шипастый хвост - и в белом лифчике из роз впереди Абрам Эфрос, а то кто ж, и тут все через Ж - кузминорастия Расеи»

А дальше все пошло по неизменному сценарию всех юдсоновских поэм – или как их там, повестями все же не назовешь. У всех, на удивление, конец один – бедный герой, намеренно облаченный в вызывающий традиционный наряд религиозного фанатика-иудея, со всеми положенными причандалами, чудесным образом спасается, оказываясь иногда под землей, а иногда среди облаков. Но всегда в руках славных ребят-десантников оттуда. И они его уволакивают на носилках, или увозят на дрезине, или умыкают на космической ракете прочь от этих ужасных разбойных мест.

Это уже настоящая проговорка, без дураков. Страдает, мается, тяготится инопланетянин в нашей земной реальности, давится нашей неаппетитной пищей, захлебывается нашей отвратной водкой, и все ждет, когда же пришлют за ним славных ребят-спасателей с носилками, дрезинами и космическими ракетами. И губы его беззвучно шепчут:

«Милый дедушка, забери меня отсюдова!»

ЭФРАИМ ИЛИН

Одним воскресным утром в Нью-Йорке, когда я, лихорадочно опаздывая, собиралась на театральный ланч к театроведке Розетте Ламонт, мой телефон зазвонил. Чертыхаясь при взгляде на уносящие время часы, я сняла трубку с намерением побыстрей отделаться от неурочного абонента. Однако отделаться от него не удалось, и наш разговор продлился более часа. Когда я появилась на пороге Розеттиной квартиры с опозданием на целый час, ланч был уже съеден и мои извинения отвергнуты. В наказание за столь грубое нарушение правил вся ее веселая сытая компания умчалась куда-то на дневной спектакль без меня - в Америке на ланч не опаздывают и нарушителей не прощают.

Учитывая мое российское происхождение, Розетта сжалилась над моим невежеством - меня не отлучили от дома полностью, а только перевели в другой разряд опекаемых. Эато за этот час я приобрела нового – я бы сказала, друга, но ведь друзей не приобретают за час, да еще по телефону,- и потому я затрудняюсь в определении статуса этого удивительного человека в моей жизни. Лучше я о нем расскажу.

Напоминаю, я сушила волосы, опаздывая на ланч к Розетте, когда зазвонил телефон. Не выпуская из правой руки фэн, я левой рукой схватила трубку и несколько раздраженно выкрикнула «Алло!» - сразу по пересечении границы я выбрала этот телефонный ответ за его интернациональное звучание. Хриплый мужской голос произнес по-русски с неуловимым акцентом: «Я говорю из Лондона. Это Нелли Воронель?»

«Да», - призналась я, отложив на время свое намерение тут же бросить трубку, - все-таки человек звонит из Лондона! «Я прочел о тебе в «Нью-Йорк Таймс, - продолжал голос из Лондона, с легкостью переходя на «ты». – Ты имеешь отношение к Володьке Воронелю? Мы с ним выросли в одном харьковском дворе». Я не сразу сообразила, что речь идет не о моем сыне Володе, а о Сашином отце, носящем в семье прозвище «дед Володя», и тоже выросшем в харьковском дворе на каких-нибудь пятьдесят лет раньше.

Через двадцать минут я уже знала не только имя своего собеседника – Эфраим Илин (не Ильин, а именно Илин, с ударением на первом слоге), но и разные пикантные подробности из жизни неизвестного мне до тех пор друга дедова детства. Из Лондона он звонил, потому что там у него была картинная галлерея, где каждая картина оценивалась минимум в миллион

долларов. Таких галлерей у него было около дюжины – во всех крупных культурных центрах мира. А с нашим дедом Володей Эфраим дружил в детстве, потому что в начале двадцатого века отцы их были совладельцами фирмы «Воронель-Илин», изготовлявшей и продававшей несмываемое мыло, изобретенное нашим прадедом Моисеем. Все было, как в романах – Воронель изобретал, Илин торговал, а их дети запускали в общем дворе бумажных змеев, сконструированных изобретательным сыном изобретателя.

Так и по сей день – Воронель, уже не Моисей, а Владимир Моисеевич, изобретал и строил химеры, а Илин торговал и стал миллионером. Однако торгуя и наживая миллионы, Эфраим Илин совершил столько нетривиальных поступков и занял столь особое место в портретной галерее выдающихся личностей Израиля, что я горжусь своим знакомством с ним и нашей долголетней дружбой.

Его увлечение коллекционированием картин началось где-то в двадцатых годах прошлого века, когда он, будучи студентом Льежского Политехникума, купил у молодого голодного художника приглянувшийся ему рисунок. За рисунок он заплатил 50 сантимов, и рисунок этот по сей день висит на стене его гостинной, освещенный так, чтобы издалека видна была подпись художника – Модильяни. Стены его дома в Хайфе украшали не только картины Модильяни, но и картины Брака, Шагала и Сотто, украшали до тех пор, пока он не решил дом снести, а коллекцию пожертвовать городу.

Коллекцию – городу, конечно, красиво, а дом мне жалко. Это был замечательный дом, высоко на склоне горы Кармель, соединенный с домом сына Эфраима, Арнона, полнометражным плавательным бассейном, над которым громоздились поросшие декоративным лесом скалы. Мы с Сашей часто бывали там в гостях – Эфраим любил приглашать нас на свои рауты, пикники и приемы. Он всегда чувствовал себя молодым, даже и сейчас, перевалив за девяносто, он все еще напивается на своих праздниках и задорно поет скабрезные русские частушкии. Особенно он любит эту:

«Раньше были времена, а теперь моменты,

Даже кошка у кота просит алименты!»

Наверно он выбрал в родственники нас, а не своего друга детства, нашего деда Володю, чтобы отдалить старость. Таким хитрым манером он надеялся сдвинуть даты рождения и смерти.

Дом Эфраима был обставлен уникальной мебелью, которую он подарил теперь музею Беэр-Шевского Университета. Мы не раз обедали в огромной, увешанной драгоценными картинами

гостиной, где за столом, сделанным лично для Эфраима по эскизу Макса Эрнста, свободно помещались тридцать человек. Стол Макса Эрнста заслуживает отдельного описания - это была овальная плита из прочного, сантиметра в 4 толщиной прозачного стекла, покоящаяся на трех бронзовых опорах, выполненных в виде крылатых грифонов – если бы не громкое имя автора дизайна, я бы сочла эту комбинацию китчем.

Гости, собиравшиеся за этим столом, отлично вписывались в неповторимую картину, созданную хозяином из различных, хорошо продуманных элементов – из роскошных полотен кисти лучших мастеров на трех стенах гостиной и открывающимся за четвертой, сплошь стеклянной, стеной захватывающим дух видом на лазурный прямоугольник бассейна в оправе возносящихся к небу скал. Там я встречала знаменитых художников, пианистов и промышленников, а также нашего покойного ныне премьера, а тогда просто прославленного генерала, Ариэля Шарона, создателя израильского флота Володю Маринова и первого начальника израильской разведки Биньямина Джибли.

Все эти люди собирались в доме Эфраима не случайно – он был знаменит в израильском обществе не своим богатством, а неожиданными поступками, судьбоносными для истории страны. Когда во время Войны за Независимость 1948 года Англия и Франция, желая удружить арабам, ввели эмбарго на ввоз в Израиль оружия, Эфраим подсчитал свои миллионы – их оказалось тогда не так уж много, меньше полутора. Но в те времена это были неплохие деньги, и Эфраим спросил свою жену Цфиру, можно ли пожертвовать их на спасение Родины. Цфира ответила словами Эсфири: «Мы же не хотим остаться одни, когда все погибнут».

Услыхав эти слова, хитрый еврей Эфраим отправился в Чехословакию, где у него были деловые связи. Там он закупил огромную партию оружия, которую перевез в Италию, где у него тоже были связи. В Италии он договорился с контрабандистами, с которыми у него тоже были связи, и они тайно доставили оружие в Израиль, обеспечив таким образом нашу победу в этой первой войне.

Созданное после победы правительство Бен Гуриона, было так благодарно Эфраиму, что открыло зеленую улицу его деловым начинаниям, а идей у Эфраима было хоть отбавляй!

Во-первых он строил во всех городах жилые кварталы, во-вторых, возвел и содержал колоссальные дома-холодильники для хранения аргентинского мяса, в-третьих, создал израильскую автомобильную промышленность, производившую военные джипы. Было еще в-четвертых, в-пятых, в-шестых и далее, но для

всех начинаний Эфраима не хватит места в моих воспоминаниях, так что я вернусь к своим проблемам и к новому вмешательству доброй феи в мою судьбу.

На этот раз она приняла облик невестки Эфраима, Ноа, привлекательной молодой женщины, терзаемой каким-то внутренним несовершенством. Мы познакомились во время пикника на траве, устроенного Эфраимом для своих высокопоставленных друзей. Дамы и господа прибывали прямо в купальных костюмах и сходу ныряли в бассейн, после чего с удовольствием вгрызались в ароматные стейки и шашлыки, в большом количестве испекаемые у всех на глазах на древесном угле. Мы с Сашей, чуждые, как марсиане, с отстраненным любопытством озирали веселую толпу гостей, знакомых друг с другом с детства, когда один еще не был хозяином банка Дисконт, другой – председателем Кнессета, а третий не владел еще половиной бензоколонок страны.

Их элегантные жены в умопомрачительных пляжных костюмах от Готтекса кружили вокруг празднично накрытых столов, уставленных разноцветными салатами и блюдами с паштетом из гусиной печенки, собственноручно изготовленным хозяином дома по собственному секретному рецепту. Эфраим, человек словоохотливый и открытый, щедро рассказывал многое из встреченного им и пережитого, но никогда ни с кем не поделился он секретным рецептом своего знаменитого паштета.

Именно там, неприкаянно слоняясь среди многоголосого ивритского говора, пересыпанного космическими именами из другого мира, вроде «Гуччи, Реканатти, Ив Сен-Лоран», мы набрели на Ною, которая смотрела на окружающее великолепие так же отчужденно, как и мы, хотя формально она, в отличие от нас, была там своя.

Своя, да не совсем. Похоже, привычное комфортабельное существование уже не наполняло ее жизни, ей хотелось чего-то большего, не столь материального. Она металась, маялась, пыталась писать прозу, но не очень успешно, и сразу потянулась к нам. Услышав о моих американских достижениях, она попросила привезти ей мои пьесы.

Пьесы ей понравились, и она взялась показать их своей подруге, которая была подружкой известного режиссера Одеда Котлера, хоть и молодого, но перспективного, уже намеченного на должность руководителя отдела драмы израильского телевидения, которое было еще моложе, и оказалось еще перспективней.

Поверьте, к сердцу израильского режиссера нет пути вернее, чем этот, случайно предложенный мне Ноей, – через дружка или

подружку этого режиссера, готовых подсунуть ему твои пьесы в интимный момент. Пьесы могут ему, конечно, не понравиться, но он наверняка их прочтет. Я восприняла это как чудо, ведь к тому времени я уже постигла главную проблему драматурга – заставить режиссера прочесть твои опусы.

Котлер мои пьесы не только прочел, но оценил и отверг, предложивши взамен найти тему, подходящую для израильской теледрамы. Я поняла, что это мой звездный час, и мысль моя заметалась в мучительных поисках – где и как следовало эту тему искать? В здешней жизни я не понимала ничего, писать об унылых бедствиях вновь прибывших жертв сионистского энтузиазма не хотелось, и я решила обратиться к своему уникальному опыту борьбы с КГБ. Я знала эту борьбу в деталях, и нужно было только выбрать оригинальную форму, отличающую мою пьесу от десятков других

Похоже, я в этом деле преуспела, и новую пьесу, написанную мною рассудочно, почти без любви, а может, именно поэтому, экранизовали дважды – первый раз на израильском, второй – на лондонском «Тэмз» - телевидении. Экранизовали на соответствующих языках – увы, ни один из них не был русским!

Осуществить русскую пьесу в виде израильской теледрамы – задача не из простых. Передо мной высились два непреодолимых камня преткновения: перевод на иврит, и режиссер, способный понять и передать зрителю мой замысел.

Единым ловким маневром я ухитрилась перескочить через оба камня одним прыжком – я вовлекла в этот проект своего старого московского друга, Славу Чаплина, который к тому времени прибыл в наши палестины, и на безрыбьи взялся руководить русским студенческим театром Иерусалимского университета. Должность эту он получил почти чудом, когда прежний руководитель театра Зиновий Зиник закапризничал и пустился куда-то за моря в поисках счастья.

Слава оглядел свою малочисленную труппу, - тогда русскоязычных студентов было вообще немного, а жаждущих играть в театре и того меньше, - грустно вздохнул и принялся искать решение неразрешимой задачи: как поставить профессиональный спектакль с такой разношерстной любительской труппой.

И как ни удивительно, ему это удалось – тем более, что в его труппе оказались и настоящие таланты – Фира Кантор стала профессиональной характерной актрисой, она и по сей день с успехом играет в кино, а покойный Мирон Гордон проявил себя как блистательный переводчик на иврит.

Он-то и перевел мою пьесу «Последние минуты»,

переименованную при экранизации в «Час из жизни профессора Крейна», причем на нашей первой встрече с Одедом Котлером он бегло декламировал ее на иврите просто глядя на страницу русского текста. И несмотря на это, а может, благодаря этому, пьеса Котлеру понравилась.

«Но кто же сможет ее здесь поставить?» - спросил он. И тогда я выпустила на сцену Славу, который был способен сказать на иврите только «спасибо» и «пожалуйста».

К счастью, Котлер оказался человеком истинно театральным – посмотрев спектакль студенческого театра Славы, в котором он даже «спасибо» и «пожалуйста» не мог вычленить из общего потока чужой речи, он оценил мастерство режиссера и заключил с ним контракт. А заодно и со мной. Подписывая договор с израильским телевидением, я наивно спросила: «Почему нет пункта о том, что я получу, если фильм будет продан за границу?»

Ответом мне был гомерический хохот всех присутствующих. «К чему такой пункт? Ведь ни одна наша теледрама еще не была продана за границу», - ответил администратор, утирая слезы счастливого смеха.

«Но все же включите его в мой контракт», - настаивала я.

«А зачем? Наши драмы никто не покупает».

«А вдруг мою купят?».

«Много о себе воображаешь! Если купят – придешь, поговорим! - отрезал администратор. - Так будешь подписывать или нет?»

И с намеком на угрозу одной рукой потянул лист к себе, пока другой уже приоткрывал ящик стола, будто намеревался небрежно смахнуть туда контракт.

«Буду, буду», - заторопилась я, пугаясь, что он передумает и мой сценарий сыграет в ящик.

Я подписала контракт, отмахнувшись от пункта, защищающего мои права в случае продажи фильма за границу, - и напрасно. Нас потом спрашивали: «А о чем вы думали, когда подписывали контракт?».

А о чем мы тогда думали? Да только о том, чтобы этот проект не рухнул в небытие, а осуществился на экране. Ведь когда мы со Славой с разгону выскочили из грязи в князи, вокруг нашего маленького успеха поднялась такая волна зависти, что под ее напором мы вполне могли бы погибнуть в автомобильной катастрофе.

ЙОРАМ КАНЮК

Это случилось несколько лет назад. Нам позвонил профессор физики Тель-Авивского Университета Виктор Флеров и предложил прочесть его перевод статьи известного израильского писателя Йорама Канюка, «Музы и пушки», напечатанной в немецком журнале «Штерн». Мы знали Канюка как автора впечатляющего романа «Адам бен Келев», посвященного трагедии Катастрофы и инсценированного театром «Гешер». Хоть Канюк и сабра, он в отличие от многих других сабр признается, что «чувствует Катастрофу как свою судьбу».

Однако статья в немецком журнале никакого отношения к Катастрофе европейского еврейства не имела, а вся наполнена была горьким раздраем по поводу мертвого арабо-израильского узла, который ни развязать, ни разрубить. Тем более удивительным показалось нам, что ни в одном периодическом издании на иврите она не появилась и о ней не было сказано ни слова. Можно было подумать, что автор хотел скрыть от своих соотечественников эту статью, скорей напоминающую плач брошенной девушки о неразделенной любви, чем разумный политический анализ выдающегося писателя. Особенно поражало, что Канюк обратился со своей жалобой к общественности именно той страны, которая была повинна в, так потрясшей его, Катастрофе.

Канюк решил поведать читателям журнала «Штерн» печальную историю отношений израильских интеллектуалов с интеллектуалами арабскими. Сбивчиво и подчас невразумительно он рассказал, как все это началось и чем кончилось. Начиналось все хорошо:

«Много лет назад, в начале 60-х, казалось, проклюнулось в Израиле взаимопонимание между израильскими и палестинскими писателями. Это был революционный прорыв. Евреи и арабы вместе боролись за мир».

И дальше продолжалось вовсе не плохо:

«Именно мы, писатели, были первыми, кто, несмотря на правительственный запрет, установили контакты с ООП. Не отчаивались мы и тогда, когда наши товарищи по борьбе - арабские поэты и писатели - отказывались подписать хоть какой-нибудь текст с сожалением по поводу убийства детей в Маалот».

Нашел, чем похваляться! Мне даже неловко думать, что израильские писатели всей душой стремились установить контакты с ООП, виновной в убийстве детей в Маалот. Но тут

вспоминается душераздирающая драма, происшедшая после изгнания Арафата из Бейрута – он объявил, что погрузит на пароход тысячу палестинских бойцов и отправится с ними в Хайфу. Что же тогда сделали израильские интеллектуалы? Они построились в длинную очередь, чтобы заполнить другой пароход, готовый выйти из Хайфского порта для радостной встречи с толпой убийц. К счастью, вмешались какие-то высшие силы, пароход Арафта так и не вышел в море и радостная встреча любящих сердец сорвалась.

А может, не все сердца были такими любящими? Жизнь показала свои клыки, когда общая мечта о мире, наконец, осуществилась:

«После войны 1967 эта борьба не прекращалась, пока не было достигнуто, наконец, соглашение в Осло. Сегодня арабские интеллектуалы в Израиле, на Западном берегу, в Египте, в Ливане, в Иордании, да и по всех остальных странах, отвергают почти единогласно любое соглашение, которое де факто не ведет к ликвидации Израиля, как еврейского государства, даже если оно будет существовать в самых скромных границах бок о бок с палестинским.».

Когда, наконец, как говорит Канюк «было достигнуто соглашение в Осло», произошло «самое ужасное, - арабские поэты бойкотируют теперь даже и тот диалог, в котором они уже участвовали…В общеарабском и палестинском мире, в котором средние и деловые круги принимают соглашение с Израилем как неизбежное, интеллектуалы составляют самую агрессивную оппозиционную группу, противящуюся мирному процессу. Они отрицают право Израиля на существование даже при условии предоставления такого же права и палестинцам».

Поневоле начинаешь жалеть бедного Канюка – он предлагает арабским интеллектуалам дружбу, искренне, от всего сердца, а они в гробу его видали, в белых тапочках. Он вдруг осознал, что сила их ненависти к нему и ему подобным даже превосходит силу его любви к ним. Но его это не испугало:

«Мы не дали себя запугать словами палестинского поэта в эмиграции Махмуда Дервиша о том, что нас - израильских левых - нужно оттеснить насколько можно, а затем сбросить в море. В конце концов, нам нечего было бояться. Мы ведь были признанным государством. Махмуду Дервишу не так легко было бы сбросить нас в море. Тем, кто выжил после Освенцима, пожалуй, что и море по колено».

Этакий храбрый бобик – одной лапкой борется со своим правительством за права палестинцев, а другой держится за это правительство в надежде, что оно не даст осчастливленным им

палестинцам сбросить его в море. Но этот храбрый бобик оказался не столь уж наивным, - он сделал довольно трезвые выводы из описанной им ситуации:

«Сегодня в Германии нет больше еврейской проблемы... Однако Ближний Восток, куда мы бежали от еврейско-европейского конфликта, грозит нам новой Катастрофой. В Израиле несколько миллионов евреев среди миллиарда мусульман вокруг создали новую действительность... Конец нашего времени приближается, если уже пушки не хотят стрелять, зато музы воспевают грядущую войну».

Неужто автор статьи понял, куда нас ведет его стремление к «Миру сейчас»? Что-то тут не складывалось: все предприятие с утаенной от израильского читателя статьей в немецком журнале показалось нам настолько странным, что мы решили взять у Канюка интервью на эту тему. Мы не очень боялись напороться на отказ – длительный журналистский опыт научил нас, что редкий писатель или общественный деятель готов отказаться дать интервью даже заклятому врагу. И оказались правы: как только главный редактор журнала «22» А.Воронель позвонил Канюку с предложением напечатать интервью у нас в журнале, тот немедленно назначил нам встречу в своем любимом кафе на улице «Арбаа» напротив Синематеки.

Когда мы вошли в кафе, он уже сидел за столиком, на котором стояло несколько пустых кофейных чашек. Канюк оказался настоящим кофеманом – не могу сосчитать, сколько еще чашек эспрессо он выпил за время интервью. За кофе платили мы, но результат нашей двухчасовой беседы стоил затраченных средств. Я приведу здесь некоторые отрывки из этой беседы в надежде, что кто-нибудь из читателей, сложивши два и два Канюка, получит четыре. У меня этот фокус не получился.

Й.К. ... хоть у них остались проблемы, вроде убийств в семье, но в принципе - израильские арабы опередили всех в арабском мире.

Н.В. Что же происходит с интеллектуалами в арабских странах? Вы пишете, что большинство молодых арабских интеллектуалов обращаются к мусульманскому фундаментализму.

Й.К. Известно, что семьдесят процентов арабских студентов, закончивших такие элитарные университеты, как Оксфорд, Гарвард, Гайдельберг или Иейл, по возвращении на родину становятся фундаменталистами. Обидно думать, что лучшие становятся худшими. Представители арабской интеллектуальной элиты выбирают фундаментализм, потому что они не в силах соответствовать требованиям сегодняшнего технологического

общества».

Подумать только, какими гнусными именами обозвали бы меня, если бы я сделала такое заявление! Но левый борец за права палестинцев может себе такое позволить – ведь он назвал арабских интеллигентов людьми второго сорта:

«Во всех областях сегодняшней жизни они оказываются людьми второго сорта, неспособными выдержать конкуренцию. Им обидно, что Израиль занимает 3-е место среди стран, развивающих высокую технологию. И, чтобы вернуть себе потерянное в Европе и в Америке самоуважение, они возвращаются к своей древней культуре и к своей древней религии, которой они могут гордиться. Этой культурой они защищаются от притязаний современного конкурентного общества, в котором они потерпели полное поражение. То, что евреи опередили их настолько, просто сводит их с ума. И они напоминают себе, что у них когда-то, давным-давно, тоже были достижения - в философии, в поэзии и даже в математике.

Н.В. Но если причина ухода арабских интеллектуалов в религиозный исламский фундаментализм в пан-арабском комплексе неполноценности, то положение безнадежно. Какое утешение вы можете предложить этим людям, чтобы скомпенсировать эту ужасную обиду?».

Действительно, что может утешить бедняг, осознавших свою второсортность? Только создание «Союза троечников», как остроумно советует российский журналист Леонид Радзиховский. Но такой сам собой напрашивающийся вывод не устраивает Канюка – он пытается увильнуть от прямого ответа:

«Й.К. Я не занимаюсь комментариями, я говорю о фактах. А факты состоят в том, что с каждым годом ситуация усугубляется и разрыв между арабским миром и миром высокотехнологической цивилизации все ширится. Это проблема не отдельных личностей, а суверенных государств, Ливана, Сирии, Египта. Все, кто возвращаются туда после учебы, - люди второго сорта, мало-мальски стоющие не возвращаются вовсе.

А.В. В чем же проблема израильских арабов, которые добились больших успехов там, где их собратья потерпели поражение?

Й.К. Они не стремились получить эти преимущества из наших рук. Им оскорбительна мысль, что мы - их покровители.

Н.В. Но ведь в арабских странах нет ничего похожего на те преимущества, которые они имеют в Израиле!

Й.К. Конечно нет, но это только усугубляет их обиду. Ведь само наше присутствие в центре арабского мира им невыносимо - мы для них инородное тело».

Кажется, все ясно, не правда ли? Остается только поставить очевидные точки над очевидными И.

«А.В. Зачем же вы, израильские интеллигенты, так для них старались, раз вы все это понимаете?

Й.К. Было время, когда положение израильских арабов было невыносимо...

Н.В. Для кого?

Й.К. Для нас. И мы вступили в борьбу... Вы должны понять, это был процесс.

А.В. И чего вы добились? Из вашей статьи можно понять, что отношения между арабской и еврейской интеллигенцией Израиля со временем не улучшаются, а только ухудшаются. Как это можно объяснить?».

Почувствовав под ногами зыбкую почву, Канюк снова отказывается от прямого ответа:

«Й.К. Я не пытаюсь ничего объяснить, я только утверждаю, что достижение того, о чем мы вместе мечтали, за что мы вместе боролись все эти годы, не только не укрепило нашу дружбу, но полностью ее разрушило.

А.В. А за что вы вместе боролись?

Й.К. За то, что израильское правительство признает Ясера Арафата представителем палестинского народа и вступит с ним в переговоры о создании палестинского государства.».

Господи, почему именно Арафата, преступника, убийцу, создателя террористической организации? Почему именно его? Ответа на это нет. Страстно и нелогично Канюк продолжает свой плач о потерянной любви:

«Й.К. И именно в тот миг, когда мы добились осуществления этой мечты, арабская интеллигенция прервала с нами все отношения. За последние годы в наших отношениях с арабской интеллигенцией произошли разительные перемены - они просто от нас отвернулись.

Н.В. А может быть, вы ошибались и обманывали себя, когда думали, что вы боретесь вместе за что-то?

Й.К. Я и пишу о том, что это был обман.

«Они обманывали вас?» - пытаясь вернуться на дорогу логики, спрашивает Воронель.

«Й.К. Нет, нет, мы сами обманывали себя. А они просто использовали нас, вот и все. Когда Арафат в первую неделю по приезде в Газу устроил прием для всех членов нашего комитета, приехали только израильские писатели, ни один палестинский писатель не явился.

Н.В. Может, они просто боятся?

Й.К. Это правда, у них есть причины бояться. На жизнь тех, кто пытался с нами иметь дело, иногда покушались. Но все же дело не в страхе. Именно арабские интеллектуалы не хотят нас здесь, хоть их политики готовы примириться с нашим существованием. А.В. Почему?

Й.К. Арабские политики, генералы и бизнесмены понимают, что пришло время заключить с нами мир, и только интеллектуалы против. А интеллектуалы в отличие от политиков обычно выражают истинные чувства своего народа.

Н.В. Но, может быть, народ не так уж важен, там ведь отнюдь не демократия?

Й.К. Пусть там не демократия, но ситуация трагическая: арабские интеллектуалы не хотят мира с нами. И выражают истинное желание арабского народа уничтожить Израиль.

А.В. Но, если это правда, то не логично ли предположить, что весь этот, так называемый, мирный процесс - ошибка?».

Услышав этот вопрос, Канюк пугается – ведь такое утверждение разрушает весь смысл его многолетней героической деятельности.

«Й.К. Может быть, но это слишком сложная тема, я не хотел бы ее касаться. Она заведет нашу беседу в тупик.»

Он пятится, а я начинаю наступать – уж очень хочется припереть его к стенке:

«Н.В. Но, если вы уже один раз ошиблись и подозреваете, что можете ошибиться снова, почему вы так отчаянно боретесь?».

Ответ очевиден и потому приводит нашего писателя в паническое состояние. Голос его повышается почти до визга:

«Й.К. Потому что я чувствую, что должен сделать все, чтобы у арабов было свое государство!

А.В. Почему вы? Кто вы такой?

Й.К. Это государство нужно мне, чтобы я мог чувствовать себя человеком!».

Стоит ли рисковать жизнью всего нашего народа только ради того, чтобы Йорам Канюк чувствовали себя человеком?

Канюк словно не слышит моих слов, он вопит:

Й.К. Мы просто обязаны предоставить им государство, им полагается. Мы перед ними в долгу, а главное - этого требует историческая справедливость.

А.В. Что такое историческая справедливость? Может быть, вся ваша концепция справедливости порочна?

Й.К. Очень может быть, но я хочу быть прав внутри себя.

Н.В. Но, если арабский народ хочет нашего уничтожения, зачем облегчать ему эту задачу, создавая у себя под боком враждебное государство?».

Тут Канюк внезапно сворачивает с широкой дороги справедливости на извилистую тропку прагматизма:

Й.К. Арабов - сто миллионов, мы не можем все время воевать с ними, мы должны найти какой-то путь прекратить эту войну. Все эти замыслы, все мечты о мире родились в умах израильских интеллектуалов, писателей, поэтов, людей искусства. И мы призвали арабских интеллектуалов, чтобы они вместе с нами боролись за эти идеи.

А.В. Но они, возможно, с самого начала вовсе не боролись вместе с вами и никогда не разделяли ваших идей.

Й.К. Я не хочу быть их психологом. В этой статье я не пытался подвести все итоги, я только описал поведение арабских интеллектуалов после начала мирного процесса. Очень важно, что арабы не имеют представления о нашей истории и ничего не хотят знать о Катастрофе. Они претендуют на роль главных страдальцев и хотят лишить нас права на страдание».

Оказывается, все дело в том, что нас хотят лишить не жизни, а всего лишь права на страдание! С каким удовольствием я отдала бы это право кому угодно!

Я опять пробую его вразумить:

«Н.В. Почему же вы склонны поддержать тех, кто хочет сбросить Израиль в море?»

Канюк раздражается, он уже не говорит голосом разумного человека, а кричит, как обиженный ребенок:

«Й.К. Послушайте, надо предоставить им государство, и мы будем знать, что поступили правильно!»

Оказывается, главное – знать, что мы поступили правильно, а там хоть трава не расти. Воронель тоже пытается вразумить Канюка простым вопросом:

«А.В. А если они начнут обстреливать нас из „Катюш", - на этот раз уже не только Кирьят-Шмона, но Тель-Авив и Кфар-Сабу?»

С тех пор прошло двенадцать лет, и мы уже хорошо знаем, что бывает в этом случае: долгое терпение, короткая война и международное обвинение в военных преступлениях. Но тогда Канюк этого не знал. В ответ он заходится в истерике:

«Нам будет легче войти танками в палестинское государство, если они обстреляют Кфар-Сабу, чем, как сейчас, врываться в дома палестинцев с полицией!».

После этих слов его начинает трясти так, что у него зуб на зуб не попадает, а костяшки его пальцев стучат по столу как пулеметная очередь. Он почти сползает со стула и еле слышно умоляет:

«Отвезите меня домой, мне что-то нехорошо». Мы с трудом

выволакиваем его из кафе и погружаем на заднее сиденье машины.

Я так и не узнаю, это случилось с ним оттого, что ему приоткрылась истина, или он просто перебрал кофеина.

Нина Воронель: Каждый недостаток - обратная сторона достоинства

Культура №8 (827) Зоя Мастер

Нина Воронель - переводчик, поэт, драматург, сценарист, публицист, эссеист, романист. Именно её перевод “Баллады Редингской тюрьмы” О.Уальда считается классическим. Ее перу принадлежат 3 романа, составляющих трилогию «Готический роман» - «Ведьма и парашютист», «Полет бабочки»,«Дорога на Сириус», и романы «Тель-Авивские тайны» и «Глазами Лолиты», а также поэтические сборники «Ворон-Воронель» и «Дела королевские».

Нина Воронель вместе со своим мужем Александром, известным учёным-физиком, принимала активное участие в диссидентском движении. В 1974 году иммигрировала в Израиль. Выпустила две книги воспоминаний “Без прикрас” и “Содом тех лет”, в которых рассказала о своих встречах с К. Чуковским, А. Синявским, Ю. Даниэлем, Л. Брик, отцом и сыном Тарковскими, Давидом Самойловым и другими не менее яркими личностями. Эти мемуары наделали много шума.

Прочитав её эссе «Клуб троечников», я уже не сомневалась в том, что непременно постараюсь с ней связаться чтобы задать несколько вопросов.

- Нина, вы пишете, что «Клуб троечников» - это сообщество посредственностей, «которые говорят и действуют стадно, как толпа». Входят в это братство люди, для которых определяющим является мнение большинства. Вы лично, встречаясь с такими людьми, вступаете в спор, пытаетесь их переубедить?

- Во-первых, я должна уточнить: я не считаю их всех посредственностями, потому что среди троечников часто встречаются люди в своей области вполне талантливые и неординарные. Но вот в области общественного мнения есть два варианта: одни просто не обладают достаточным интеллектом для того, чтобы думать и анализировать – и поэтому воспринимают сказанное кем-то, не вникая в суть. Других я подозреваю в корысти. Они знают, «с какой стороны хлеб намазан маслом». Приведу пример. На прошлой неделе два израильских документальных фильма получили престижные премии международных фестивалей. Один – об оккупации арабских

территорий, другой – о борьбе за забор, которым наша страна пытается оградить себя от террористов. Оба фильма – явно про-палестинские. Было бы наоборот, они не только не были бы отмечены призами, но даже номинированы для участия в этих фестивалях.

- То есть, сегодня в Израиле патриотические настроения – не в почёте.

- Нет. Даже некоторые израильские историки старательно пишут о том, что израильского народа как такового не существует, а если и допустить, что он был, то какой-то не настоящий.

- В отличие от «настоящего» палестинского? Но зачем рубить сук, на котором сидишь? Ведь эти историки сами представители того «ненастоящего» народа.

- Но зато их принимают в Оксфорде, потому что их идеи созвучны тем, которые нынче там в моде.

- И этих людей вы называете троечниками, потому что…

- Потому что отличники умеют мыслить и этим выделяются из толпы. А троечники предпочитают с ней слиться.

- Мы все наблюдаем, как раковые клетки политкорректности проникают во все слои общества. Почему вы считаете, что тенденция обходить неудобные темы, не называть вещи своими именами - так опасна?

- Я думаю, что в значительной степени гибель цивилизации предрешена, когда вещи перестают называться своими именами. Ещё Конфуций учил, что слова должны быть верными, а действия – решительными. Слова должны соответствовать своему значению. А когда начинается подмена смысла, всё идёт прахом.

- Несколько лет назад я делала интервью с молодым, весьма образованным американским раввином. Он говорил на пяти языках, преподавал в университете. На мой вопрос, хотел ли бы он жить в Израиле, был ответ: «Нет, потому что там слишком сильное неприятие арабов – евреями».

- То есть, арабы открыто заявляют, что хотят стереть Израиль с лица земли, взрывают автобусы, зверски убивают мирных жителей, а евреи позволяют себе недоброжелательно относиться к тем, кто даже не считает нужным скрывать свою ненависть. А он сам верил в то, что говорил?

- У меня не было причин в этом сомневаться. Но я могу привести другой пример из своей журналистской практики: Людмила Улицкая, еврейка по рождению, христианка по вере, одна из самых читаемых сегодня российских писателей, сказала, что в палестино-израильском конфликте «обе стороны проявляют агрессию». То есть, она уравняла вину Израиля, пытающегося выжить, с виной палестинцев, которые эту самую толерантность расценивают как слабость и приглашение к новой агрессии. Неужели тот факт, что образованные, интеллигентные люди не хотят или не могут видеть очевидное, по-вашему, объясняется только корыстью?

- Видимо, да. Знаете, я не большая поклонница Улицкой как писателя. Но она умный человек. Во всяком случае, ей хватает ума приезжать лечиться именно в Израиль. Но вот во время книжной ярмарки её свели с одним из самых левых израильских писателей – Меиром Шалевым, - и во время совместной конференции они дружно рассказывали о том, как плохо живётся арабам и упрекали в этом Израиль.

- Насколько я знаю, Шалев – самый знаменитый автор, пишущий на иврите. В одном из своих интервью, он сказал следующее: « Раз уж евреи изобрели монотеизм и построили Иерусалим, то и теперь они способны на высокие мысли, способны сказать, что этот город – прежде всего – идея, а не только кусок земли, который нужно схватить и удерживать. Храмовая гора должна быть духовным понятием».

- Я даже не понимаю, о чём он говорит. Трудно представить, что Шалев действительно хочет отдать Иерусалим. А если хочет, то почему эта мысль высокая? Хочется верить, что это просто плохой перевод интервью с иврита. Я пыталась читать Шалева. В одной из самых его знаменитых книг «Русском романе», описывается период зарождения еврейской общины, которую со всех сторон окружают арабы. Но что интересно, арабов там нет. Родителей героя убило гранатой, но совершенно непонятно, кто её бросил. Или вот один из персонажей – странный, сумасшедший человек. Он говорит, что надо бороться, но при этом не уточняет, с кем. Он изображён глупым, отвратительным, катается в грязи и навозе, потому что именно там ему и место – ведь он призывал к борьбе. Однако всё это сделано в романе исключительно изящно и талантливо.

- И всё же, я не могу согласиться с вашим мнением по поводу Людмилы Улицкой. Её трудно заподозрить в корысти, особенно учитывая гражданскую позицию в отношении

Ходорковского.

- Вы имеете в виду их переписку, опубликованную в «Знамени»?

- И это тоже.

- Вы хотите сказать, что это был героический акт? И кого же больше прославила эта публикация – её или Ходорковского?

- Это было акт порядочности и смелости. Разве нет?

- И что, Улицкую посадили, или перестали печатать? Знаете, в течение пяти лет, пока Юлий Даниэль сидел в тюрьме, я с ним переписывалась. Потом, когда его выпустили, мы с мужем поехали за ним во Владимирскую тюрьму, и у нас были большие неприятности. Сашу практически выгнали с работы. И я не пыталась опубликовать нашу с Юликом переписку, потому что он был нашим другом. А здесь она пишет, ах, кто вы, Михаил Ходорковский? Понимаете, о нём бы и без Улицкой не забыли.

- Раз уж вы упомянули Юлия Даниэля, давайте поговорим о ваших мемуарах. Вы с мужем (Александр Воронель, профессор физики Тель-Авивского университета, главный редактор журнала «22» - З.М.) активно участвовали в диссидентском движении. Андрей Синявский и Юлий Даниэль были не просто вашими единомышленниками, но и друзьями. Вы принимали активное участие в их судьбе во время процесса 1966 года. А спустя почти 40 лет неожиданно выпустили две книги мемуаров «Без прикрас» и «Содом тех лет», в которых рассказали о близких вам людях многие неприглядные вещи. Например, вы написали, что Синявский являлся осведомителем или работником КГБ. Да и вообще, оказалось, что многие кумиры тех лет, властители умов - малосимпатичные личности. Естественно, книга вызвала скандал, вас упрекали в недостоверности. Многие обиделись и порвали с вами отношения. А вы написали: «Я не думала о возможных последствиях, негодованиях и обидах. То, о чём я писала, казалось мне слишком важным, чтобы отвлекаться на всякие пустяки». Вы по-прежнему убеждены, что обидеть человека, который много лет считал вас другом, – пустяк и что правду надо говорить обо всём, всегда и всем?

- Во-первых, я написала о вещах, которые не были известны. И мне было неважно, как к ним отнесётся общественность. Мне казалось, что для истории важно было сохранить живых людей, а не мраморные изваяния. Во-вторых, время работы над мемуарами было для меня абсолютным счастьем.

- Но стоило ли жертвовать дружбой для того, чтобы получить удовольствие?

- Да, на меня обиделись многие. Ну, реакция Марии Синявской меня не задела, потому что я ещё до этого перестала причислять её к кругу друзей. Но кроме неё обиделись многие настоящие друзья, и не только по поводу мемуаров. И всё же, отвечая на ваш вопрос, скажу - стоило. Тем более, что я никого из них не предала, не посадила в тюрьму. Более того, они все прекрасно знают, что я ничего не придумала, написала так, как оно было. А тогда почему они должны были прервать отношения? Наверное потому, что это изначально не было дружбой.

- И Владимир Войнович тоже оказался по ту сторону?

- Наверное. Мы после выхода его книги о Солженицыне не встречались, не разговаривали. Но поскольку со мной поссорился наш общий друг Бен Сарнов, думаю, что его реакция отчасти была связана и с тем, что я написала о Войновиче, вернее о его книге, посвящённой Солженицыну. Я вовсе не боготворю Александра Исаевича. Но считаю, каким бы он ни был, стыдно о нём писать плохо. Особенно меня задела фраза Войновича об “Архипелаге Гулаг»: «Подумаешь, я давно это знал».

Может, и знал, но молчал. А Солженицын – написал. И вот эта «маленькая» разница ставит между ними забор, на который Войновичу никогда не забраться. Но ещё раз подчеркну: я никого не хотела обидеть.

- Вы встречались с Солженицыным?

- Да, мы встретились один раз, в 2002 году, при особых обстоятельствах. За нами заехала Наталья Дмитриевна и привезла в довольно странное место: дача, забор, у которого стоял солдат. В общем, это оказался дом, который Александр Исаевич себе построил.

- Видимо, вы говорите о доме в Строгино, который был построен на месте дачи маршала Тухачевского. В 1994 году мэрия Москвы – за заслуги перед Россией - передала Солженицыну в пожизненное владение этот участок, и он построил дом для проживания и хранения архива.

- Отношение к Солженицыну уже тогда было неоднозначным. Общество разделилось на два лагеря: за Солженицына и против. А я не видела причины для того, чтобы отречься от человека, который в своё время вызвал у меня такое уважение и восхищение. Поэтому вступилась за него, ну просто как Улицкая

за Ходорковского.

- А его книга «200 лет вместе» вас никак не смутила?

- Безусловно, там есть очень много неприятных моментов, но то, что он сделал до этого, ведь не отменилось?

- В Вашем стихотворении «Одержимые», вы пишете: «Нам кажется, что мы ещё успеем/ Любить любимых и платить долги». Сегодняшнее поколение мало что знает о людях, рисковавших свободой за то, чтобы перепечатать или просто прочитать запрещённую книгу. Скажите, вы отчётливо понимали риск, которому подвергали себя и своих близких?

- Конечно.

- Несколько лет назад похожий вопрос я задала Софье Богатырёвой, бывшего мужа которой, известного переводчика и диссидента Константина Богатырёва, зверски убили. Она сказала, что участие в диссидентском движении объясняется «русской традицией приходить на помощь нуждающимся, а также верностью своим представлениям о морали».

- Да, мы были знакомы и с Костей, и с Соней. Ответ красивый, но неправдоподобный. Понимаете, всё это происходило не вдруг. С Юликом Даниэлем и Андреем Синявским мы дружили много лет, и только года за три до того, как их начали преследовать, они рассказали нам о том, что печатаются за границей, дали прочесть эти тексты. И мы увлеклись ситуацией, потому что тоже не любили советскую власть. Мы были вхожи в один очень антисоветский дом, где собиралась молодёжь. Кстати, туда приходила и Улицкая, которая тогда была тихой, скромной девочкой. Муж хозяйки дома был участником знаменитого «трикотажного дела». В этом доме не просто не любили, - там ненавидели советскую власть с самого её прихода. Родителей хозяев дома, нэпманов, пытали, били, искали золото. И вот мы собирались, обсуждали существующую жизнь, все эти процессы, литературные проблемы. Когда из Союза писателей исключали Пастернака, Синявский умудрился провести Даниэля с собой, и мы всю ночь ждали их, чтобы узнать, чем всё закончится.

Мы не вдруг вошли в это движение, мы изначально в нём участвовали. Нас привела туда наша биография. Когда моему мужу было 14 лет, он в Челябинске, сразу после войны, создал кружок, где с такими же мальчишками печатал и расклеивал листовки. Потом он просидел полгода в лагере для детей, а это пострашнее взрослой тюрьмы. Тогда и слова диссидент ещё не

было, но были люди, не согласные с тем, что происходило вокруг.

- Так может быть, некоторые люди действительно рождаются с вирусом противостояния любой власти? Мне попалась на глаза рецензия Валерия Сердюченко, посвящённая вашим мемуарам, где он пишет: « В любом интеллигентском поколении рождается определённый процент особей, которых хлебом не корми… а дай реорганизовать человечество. Диссидент, даже окажись он в раю, немедленно примется протестовать…» Вы иммигрировали в Израиль в 1974 году. У вас не возникло желание попытаться и там что-то изменить, улучшить?

- Когда мы сюда приехали, то практически ничего не понимали. Я даже приведу пример своего тогдашнего идиотизма. Я сетовала на то, что по сравнению с Советским Союзом в Израиле не было проблем и, стало быть, не о чем писать. Понадобилось лет десять, чтобы увидеть реальные проблемы этой страны, и ещё десять, чтобы научиться различать кто есть кто. А потом выяснилась забавная вещь: оказалось, что если в России я была с интеллигенцией против народа, - потому что народ любил власть и подчинялся ей, а интеллигенция читала, писала и этой власти сопротивлялась, то здесь я с народом - против интеллигенции. Потому что здешняя интеллигенция состоит из тех самых троечников. Проще говоря, из предателей.

- То есть, левых…

- Да. И более того, другим вход в этот клуб недоступен. Чтобы туда попасть, нужно предъявить удостоверение о том, что ты разделяешь их взгляды.

- В своих мемуарах вы признались, что вам было не очень уютно в Израиле 70-х годов. В чём это проявлялось?

- Тогдашний Израиль очень отличался от сегодняшнего. Это была довольно заштатная, несчастная страна. Тель-Авив представлял из себя большую навозную кучу. Знаете, режиссёры любили показывать, как главный герой бежит по улице, а вокруг него свалки, вслед летят бумажные пакеты и мусор.

- То есть, ваши представления о том, как должно быть, не соответствовали тому, что вы увидели.

- Да. Например, я пошла в Институт кино, чтобы отдать сценарий. Ищу здание с этой вывеской, а оказывается что весь Институт располагается в крошечной двухкомнатной квартирке, и там сидят два старичка, которые потом, в кафе, ещё и просят

заплатить за их кофе. Кроме того, я не знала языка, а это решающий фактор для адаптации. В общем, потребовалось время, чтобы найти себя. И это было основной причиной ощущения неуюта.

- Сходно ли было это ощущение тому, которое в 60-е годы вы испытывали, приехав их Харькова в Москву. Я спрашиваю об этом, потому что в ваших мемуарах вы часто называете себя провинциалкой.

- Тогда, в юности, приехав в столицу и познакомившись с москвичами, я постоянно ощущала их превосходство.

- Почему? Вы что, носили туфли с белыми носочками, задавали нетактичные вопросы, раскрывали душу первому встречному? В чём проявлялась ваша провинциальность?

- В харьковском образе мысли. Бен Сарнов часто говорил, что мы, провинциалы, – десантники, которые всё разрушают. И в чем-то он был прав: у человека, живущего в провинции, где время течёт медленнее, есть время читать, размышлять о каждой проблеме, и потому его мнение выработано им самим. А мнение москвича - это, как правило, мнение группы или каких-то выдающихся, блестящих людей: вот это сказал Сахаров, это – Сарнов. А мы, десантники, приезжали со своими мнениями и идеями, вступающие в противоречие с общепринятыми.

- В 1974 году вы вынуждены были эмигрировать в Израиль, и приехали в Россию только через 28 лет. Какой она вам показалась?

- Первый раз, в 2002 году, Сашу пригласили на конференцию в Свердловск, и до этого мы решили провести две недели в Москве, с друзьями. Эта поездка оставила странное впечатление: вроде всё то же, но другое. Но в общем и целом, это было терпимо, чего не скажешь о второй поездке в декабре 2004 года. Поводом стало приглашение на конгресс памяти Достоевского, где мы с Сашей должны были выступить с докладами. От Москвы осталось ощущение свинцовой тяжести. Передвигаться по городу было сложно. Из метро выходишь в полуобморочном состоянии – из-за духоты. На машине ездить невозможно из-за сплошных пробок. В один из дней мы пошли в редакцию журнала «Знамя» - от площади Маяковского по Садовому кольцу. Накануне развезло, а утром ударил мороз, и был такой гололёд, что мы, держась за руки, беспрерывно падали.

Но основное впечатление осталось не от погоды, а от людей.

Когда видишь, как постарели твои друзья, по-настоящему осознаёшь, что и ты изменился. Это тяжело. А кроме того, замечаешь, что мы по разному воспринимаем и относимся к каким-то событиям или проблемам, что вопросы, которые им кажутся исключительно важными, нам не интересны. И наоборот.

- Например.

- Ну, вот уже упомянутое мною отношение к Солженицыну, буквально разделившее общество на два враждующих лагеря. На мой взгляд, эта борьба была похожа на помешательство.

- А из-за чего, конкретно, народ так возбудился?

- Солженицын проехал на поезде, в персональном вагоне по России, и на каждой станции проповедовал и учил, как её обустроить. Его принимали с почестями и забрасывали цветами. И больше всего моих друзей возмутило то, что он всем этим наслаждался.

- Смена статуса: жертва режима стал народным героем. А кого вы считаете героической личностью?

- Я бы сказала – не героической личностью, а героями моих романов. Есть три избранные личности, которые стали моими героями.

Первая – это Достоевский, о котором я написала пьесу и сценарий для телевидения BBC. Меня многие спрашивали, почему надо писать об антисемите. А я отвечала, что если перестану писать об антисемитах, то писать будет не о ком, потому что все, в той или иной степени, – антисемиты. Даже евреи. Что делать, евреи – особый народ, он вызывает к себе особое отношение. Второй герой – Рихард Вагнер. О нём я написала повесть, которая входит в роман «Полёт бабочки». А сейчас я закончила пьесу «Маленький канатоходец».

- Я понимаю, почему маленький – в Вагнере было росту метр пятьдесят плюс два сантиметра его бархатный берет. Но почему канатоходец?

- Он говорил, что всю жизнь ходил по канату и боялся сорваться. Я изучила 2000 страниц текста, в том числе, дневники Вагнера, письма к нему и о нём, и обнаружила, что биографы обходят вниманием тот факт, что 1849 году в Дрезден, где Вагнер служил главным дирижёром дрезденской оперы, приехал Михаил Бакунин, разыскиваемый полицией всего мира, и что Вагнер в него влюбился.

- ?..

- Нет, он не был совсем уж «голубым», а, как бы это сказать поточнее...

- Голубоватым?

- Ну да. А потом в Германии началась революция, в которой Вагнер принял активное участие. Спрашивается, почему знаменитого музыканта, человека, у которого было всё, понесло на баррикады?

- Ведь он потом бежал и много лет жил в изгнании.

- Совершенно верно. А ответ прост: он так влюбился, что готов был идти за Бакуниным куда угодно, а тот видел в своей жизни одну цель – баррикады, на которые Вагнер и полез вслед за ним.

- Так, а третья личность?

- Это герой моей трилогии «Готический роман» - немецкий террорист. Он – наш враг и потому мне интересно было его описывать. А главное – своим противостоянием он создавал сюжет.

- Не обижайтесь, но это смахивает на какую-то мазохистскую любовь к антисемитам и террористам.

- Так совпало. Я выбирала героев не за антисемитизм, а за то, что они были людьми огромных творческих способностей. Вокруг них так завихрялось пространство, что об этом интересно было писать.

- А среди ваших друзей были такие завихрители пространства?

- Да, например Андрей Синявский. Он был очень многослойным, склонным к игре человеком.

- А Андрей Сахаров?

- В нём, кроме святости, я не могла найти ничего драматического. А я не постигла до конца смысл святости – это порок или добродетель.

- Давайте поговорим о вашем журнале «22». Скажите, на какого читателя он ориентирован?

- На интеллигентного читателя с хорошим вкусом. Мы публикуем философские, публицистические статьи, стараемся печатать прозу, которая, может быть, не всем доступна, но

обладает высокими литературными достоинствами.

- Мне кажется, что сегодня литература воспринимается иначе, чем даже 10 лет назад. Сегодня чтение – это скорее развлечение, чем поиски истины.

- Отчасти это так. Но пока мы нужны кругу читателей, предпочитающих качественную, изысканную литературу, журнал будет выходить. Знаете, в конце-концов, люди возвращаются к старинной мебели, классической музыке, истинному искусству и настоящей литературе.

- Я думаю, довольно сложно не изменять своим профессиональным принципам и оставаться этаким «белым вороном» среди моря изданий, более доступных массовому читателю. А вам лично удаётся жить в гармонии с собой?

- В значительной степени – да. Я приняла свои недостатки и признала, что многие мои неудачи как раз связаны с этими недостатками. Например, у меня острый язык. Я сначала говорю, потом думаю, и не раз была за это наказана. Вы понимаете, о чём я?

- Вы даже не представляете, как я вас понимаю.

- Но с другой стороны, каждый недостаток – обратная сторона достоинства. Мой острый язык мне вредил, но и принёс много пользы. Так что я нашла некое равновесие, то есть, гармонию. Что касается творчества, то иногда я думаю, что пишу замечательно, иногда – ужасно. В принципе, я довольна реакцией читателя, хотя порой мне кажется, что мне недодали. Хотя, наверное, так кажется всем.

- А как вы думаете, человек-человеку – друг?

- Я бы сказала, отдельный человек отдельному человеку может быть другом. В основном же, если люди друг-другу не мешают, они, скорее, равнодушны. Но, к сожалению, им мешает очень многое. Например, у кого-то более удачная жизнь, благороднее форма носа, красивее волосы. У вас чего-то больше или, наоборот, меньше. Хотя это неважно, вас могут в равной мере не любить и за то, и за это. А особенно, если ваши интересы сталкиваются. Но я часто наблюдала враждебность людей, с которыми меня вообще ничего не связывает, которых я даже не видела.

- Один из моих любимых «гариков» Игоря Губермана как раз посвящён этой теме:

Не знаю, зависть – грех или не грех.
Но всё-таки могу предположить,
Что свой позор нетрудно пережить.
Сложнее пережить чужой успех».

Говорят, чем талантливее человек, тем меньше он предрасположен к зависти. Вы с этим согласны?

- Я не уверена, что зависть непременно воспаляется от сравнения себя с другими. Мне кажется, она живёт сама по себе и сама себя подпитывает. В писательской среде ходит такая шутка, очень похожая на правду: я прочёл твой роман и с удовольствием обнаружил, что он мне не понравился.

- А что вас привлекает в людях?

- Талант, самобытность и обаяние.

- Эти три качества невозможно приобрести. С ними рождаются.

- Да, а что касается обаяния, его нельзя ни объяснить, ни передать словами. Это похоже на излучение каких-то химических веществ, которые исчезают с уходом самого человека.

Вела беседу Зоя Мастер